

Владимир Гиляровский

Восходящая звезда



Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)



Москва и москвичи // Эксмо, М., 2008
ISBN: 978-5-699-11515-0
FB2: "shum29", 16.11.2008, version 1.0
UUID: f2f02527-0528-102c-99a2-0288a49f2f10
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Алексеевич Гиляровский

Восходящая звезда (Люди театра)

«В семидесятих годах прошлого века самым безлюдным местом в Москве была Театральная площадь, огороженная с четырех сторон пестрыми, казенного рисунка, столбами, и сквозь них был протянут толстый канат...»

Владимир Гиляровский

Восходящая звезда

В семидесятых годах прошлого века самым безлюдным местом в Москве была Театральная площадь, огороженная с четырех сторон пестрыми, казенного рисунка, столбами, и сквозь них был протянут толстый канат.

У австралийских дикарей были такие священные места, куда нога смертного не должна была ступить, и виноватый, преступивший закон, изданный жрецами, подвергался смертной казни за нарушение «табу».

Такое «табу» лежало на Театральной площади: оно было наложено командующим войсками Московского военного округа и соблюдалось преемственно с аракчеевских времен, с тою только разницей, что виновного не казнили, а отправляли в квартал (тогда еще «участков» не было, они введены с 1881 года), чего москвичи совершенно справедливо боялись.

– Насыпят по первое число, а то, гляди, и выпорют!

* * *

Удивительная площадь! Кусок занесенной неведомой силой мертвой тундры с нетронутым целинным снегом, огороженной казен-

ными столбами и веревкой! Тундра во всей целомудренной неприкосновенности.

И это в то время, когда кругом кипела жизнь, гудел всегда полный народа Охотный ряд, калейдоскопом пестрел широкий Китайский проезд, и парами, и одиночками, и груженными возами, которые спускались от Лубянской площади, упирались в канат и поворачивали в сторону, то к Большому театру, то к Китайской стене, чтобы узким проездом протолкаться к Охотному ряду и дальше.

Думается, что лихой наездник Аполлон, правящий четверкой коней со своей колесницей над фронтоном театра, кричит: «Вот дураки! Чем зря кружиться, сняли бы с среднего пролета кусок веревки – и вся недолга!» И ругается греческий бог, как пьяный кучер, потому что он давно омосквичился, а в Москве все кучера пьяницы, а трезвых только два: один вот этот, на Большом театре, а другой на «Трухмальных» воротах у Тверской заставы, да и то потому, что тот не настоящий кучер, а «баба с калачом».

Вслед за старым москвичом Аполлоном, уже вслух на всю улицу ругаются и все куче-

ра, и извозчики и ломовики. А богатеи, что на собственных выездах щеголяют, даже заикнуться не дерзают. А замолчали они после того, как их выборных «отцов города», когда в заседании думы они эту Аполлонову мысль об открытии одного пролета высказали, начальство так пугнуло, что душа в пятки ушла.

Командующий войсками генерал Гильденштубе велел передать городскому голове, что «в Думе пусть думают, что хотят, а говорить, что не полагается, – не сметь!»

На десять лет замолчала Дума, пока какой-то смелый главный опять не поднял этого Аполлонова вопроса об открытии пролета для удобства проезда. И снова получился такой же строгий оклик, хотя командующий войсками был другой генерал – Бреверн де ля Гарди.

И снова вся Москва продолжала кружить около каната.

Целинный снег все лежал и лежал целомудренной белой скатертью, а кругом каната ходили хожалые и будочники и наблюдали, чтоб кто-нибудь не нарушил «табу», и особенно следили, чтобы «канатные» прогулива-

лись только рядом с канатом с одной стороны площади и не толкались у фонтана. Это уже они творили волю обер-полицмейстера, издавшего приказ: «Ввиду соблюдения благоустройства строжайше запретить шляться проституткам Челышевских и Китайских бань по тротуарам и разрешить им хождение только по наружной стороне площади на три шага от каната и только с одной стороны, к Китайской стене выходящей».

Так и звали этих особ «канатными», и не было тогда хуже оскорбления, как ругать: «канатная».

Они состояли в полной власти будочников. Пост около каната по полиции считался наградой: туда посылали, как в допетровские времена воевод в отдаленные города «на кормежь».

Любоваться площадью и сценами около каната можно было из окон трактира знаменитого Тестова, числившегося, как писалось на его прейскурантах, «поставщиком двора его императорского высочества великого князя Владимира Александровича», посещавшего, как и другие высокопоставленные, трак-

тир во время своих наездов в Москву.

Но «поставщика» и герб великокняжеский Тестов получил за доставление к великокняжескому двору своих, действительно замечательных, молочных поросят, выращиваемых каждый в особом ящике с перегородками, «чтобы он жирку не сбрыкнул».

Когда высокие гости приезжали к Тестову, швейцар бежал на пост к полицейскому: – Гони своих канатных под Китайскую стену – начальство наехало!

И любовались гости из трактира на площадь белоснежную, безлюдную, не тронутую ногой человеческой.

Редко, редко, когда след по снегу появлялся. Находились энтузиасты, любители сильных ощущений, которые подлезали под канат, если, конечно, будочника близко нет, и стремглав перебежали площадь, что некоторым удавалось, и они после, указывая приятелям на следы, хвастались:

– Это я пробежал!

Десятки лет пустовала площадь. А, кажись бы, чего искать лучше места для зимней прогулки детей! Но никогда следа детских ножек

и салазок не появлялось там, потому что было строго приказано не пускать ребятишек мять казенный снег.

А все-таки снег мяли и следы на нем были, иногда одиночные, а то и групповые. Тут предржащая власть была бессильна. Да и что могла поделатъ полиция с собаками, которые, пробегая из Охотного или в Охотный прямым путем, иногда деловито останавливались у столба, балансируя на трех ногах, а четвертой, непременно задней, поддерживали столб, может быть из осторожности, чтобы не упал: вещь казенная. Мало ли что собака думает? Собаки умные! По крайней мере, они учили, что безлюдная площадь – это самое удобное место для их свадеб, которые они и играли на виду у всех. Бывало, весь снег испетляют следами, а ничего не поделаешь!

Наконец открылся один пролет, пошла потом по нему конка, а затем трамвай, и в конце концов, вместо целинной снеговой тундры зимой, грязного болота осенью и весной и покрытой туманами пыли летом шоссированной площади образовался чудный сквер – место отдыха москвичей и радость детям.

Круглый год гуляют дети там, где в старые годы устраивались раз или два в году парады войск и ради этих двух раз площадь была «пустопорожним местом», как писалось в казенных бумагах.

* * *

В первый раз я увидел площадь в декабре 1875 года, когда приехал в Москву из Рязани ночью и остановился у приятеля, актера Селиванова, в его номере, в «Челышах», так как у меня не было ни копейки денег.

На другой же день я пошел в Артистический кружок, где по рекомендации актеров Киреева и Лебедева был принят на службу помощником режиссера, и обосновался в столице.

До восьмого марта 1876 года я и внимания не обращал на площадь, а в этот день площадь осталась у меня в памяти навсегда.

Я вышел из актерского подъезда «Челышей», что против фонтана работы скульптора Витали. Было десять утра, а репетиция – в двенадцать. Я остановился на углу Китайского проезда и нашей гостиницы и впервые подумал: сколько зря приходится крюку делать!

То ли дело, если бы этого дурацкого каната не было: иди по диагонали прямо от подъезда гостиницы до подъезда Кружка! А то вот кружи по тротуарам Малого театра, а потом около подъезда Большого – ровно вдвое дальше! А главное, переходить среди беспорядочной езды по суетному Китайскому проезду! Потом уже его городская управа назвала Театральным, а народ доселе все Китайским зовет. Кроме Челышевских, были на другой стороне, на углу Неглинного проезда, Китайские бани. Их потом переименовали в Центральные, а долго звали Китайскими.

* * *

Сейчас, когда я пишу это, в тысячный раз благодарю тот самый дурацкий канат: не будь его – я многое бы потерял в жизни.

День солнечный. Огороженная площадь бела от свежего снега, хотя на улицах снег уже обратился в ореховую халву.

Стою и люблюсь задрапированным снегом Аполлоном в колеснице на четверке коней. Он украшает фронтон Большого театра, поддерживаемый колоннами, из которых каждая весит двенадцать тысяч пудов или держит та-

кой груз, как мне говорил когда-то архитектор М.Н. Чичагов. Любуюсь пролетавшим полицмейстером Араповым, то есть не им, а прекрасной рыжей парой, золотившейся на солнце. Коренник мчится призовой рысью, а красавица пристяжка изогнула шею кольцом, морда вниз: «Землю ест!» На повороте с Петровки он переехал собачонку, сшиб с головы лоток у разносчика и умчался, даже не оглянувшись.

За ним сверху, с Лубянки, мчались одиночки, пары, тащились ваньки – зимники на облезлых клячах, тоже ухитрившиеся торопиться под горку. Обрато, из Охотного, встречные им, едут в гору обыкновенно тихо. Прополз сверху обоз, груженный мороженой рыбой. На паре битюгов везли громадную белугу, причем голова ее и туловище лежали на длинных дровнях, а хвост покоился на других, привязанных к задку первых.

– Белужина-то пудов на сто! – говорили в кучке остановившихся поглазеть на чудо природы.

Обоз застрял на повороте и задержал огромную древнюю карету с иконой Ивер-

ской Божией Матери. На козлах сидели кучер и дьячок, головы которых были повязаны у одного женским платком, а у другого башлыком, потому что в шапке считалось икону грех везти.

Лавина саней сверху продолжала спускаться. Показался большой возок на четверке вороных лошадей цугом с форейтором в монашеской скуфейке вместо шапки.

– Митрополит! – говорили остановившиеся прохожие, снимали шапки и кланялись возку, из окна которого митрополит в черной рясе с широкими рукавами и в белом клобуке с бриллиантовым крестом благословлял на обе стороны народ. Он ехал к Кремлю.

Но больше меня заинтересовал следующий выезд – карета на высоких круглых ресорах на паре старых-старых, но породистых крупных рысаков, с седым кучером в голубой бархатной шапке с четырьмя острыми углами. Рядом с ним такой же старый, министерского вида, с серебряными огромными баками, выездной лакей в цилиндре с золотым галуном, а над крышей кареты высились две шляпы, тоже с галуном, над серьезными ли-

цами двух огромных гайдуков, начисто выбритых. Они стояли на запятках, сзади кареты, держась за широкие ременные поручни. Сквозь окна кареты мелькнул передо мной лиловый капор, выглядывающий из пушистого воротника.

– Любуетесь Москвой? – сказал остановившийся передо мной высокий человек с проседью, в тонком пальто и модной тогда между интеллигенцией драповой шапочке «пирожком», на манер сербской.

Он протянул мне руку, сбросив с нее вязаную перчатку.

– Здравствуйте, Петр Платоныч! – обрадовался я.

– Любуетесь Москвой? В эти часы для наблюдений место интересное! Ну где вы увидите таких? – и он указал по направлению кареты с лакеями. – Это, изволите ли видеть, крупная благотворительница, известная под кличкой «Обмакни». Она подписывает бумаги гусиным пером и каждый раз передает перо своему секретарю, чтобы он обмакнул в чернила, и каждый раз говорит ему: «Обмакни». Ну, вот она как-то и подписала по ошиб-

ке под деловой бумагой вместо своей фамилии: «Обмакни». А вы, конечно, на репетицию?

– Да, но еще рано, вот и гуляю до двенадцати. День очень хорош, десять градусов.

– И прекрасно. Пойдемте в «Щербаки», и позвольте вас угостить расстегаем со свежей икрой.

* * *

Мы двинулись по тротуару Малого театра по направлению к «Щербакам», на Петровке против Кузнецкого моста. Этот трактир, в деревянном домике с антресолями, содержал старик Спиридон Степанович Щербаков, благодетель бедных актеров и друг всех знаменитостей артистического мира. Не успели сделать двух шагов, как сзади звякнули шпоры и раздался голос:

– Князь, я вас вчера на бенефисе видел!

– Здравствуйте, Иван Львович!

Перед моим спутником стоял жандарм в пальто с полковничьими погонами, в синей холодной фуражке. Я невольно застыл перед афишей на стене театра и сделал вид, что читаю, – уж очень меня поразил вид жандарма:

паспорта у меня еще не было, а два побега недавних – на Волге и на Дону – так еще свежи были в памяти.

Я теперь не могу сказать, о чем была афиша: я делал вид, что читаю, а на самом деле прислушивался к разговору и помышлял, как бы провалиться сквозь землю, потому что бежать боялся: как бы не вызвать подозрения. До меня доносились отрывочные фразы полковника, на которые односложно, как-то сквозь зубы, будто нехотя, отвечал князь.

– Эту пьесу следует запретить. Довольно уж разной нигилитины и своей, а то еще переводная!.. Да там прямо призыв к бунту!.. Играла прекрасно... Ну да только и она все-таки с душком, читает на вечеринках запрещенные стихи, Некрасова читает!..

Князь что-то отвечал – я не расслышал.

– Ну, я тороплюсь... Дела неотложные... – Щелкнули шпоры – и высокая фигура в сером пальто замоталась по тропинке рядом с канатом.

– Это главный московский жандарм. Хитрая бестия! Идет к себе в канцелярию. – И Петр Платонович Мещерский указал на боль-

шое желтое здание рядом с домом Тестова, доходившее до угла Охотного. Это был дом Журавлева. Впоследствии, в восьмидесятых годах, он сломал его и выстроил «во всех стилях» пестрый домище, который сдал ресторатору Пинчеру под гостиницу. Дом этот, в том же виде, стоит и теперь, как и дом другой, напротив, гостиница «Метрополь», сооруженный «по-модерному» Саввой Ивановичем Мамонтовым на месте старинного барского дома Чельшева.

Эту сторону площади изменили эти два дома. Зато другая – с Малым и Большим театром и дом Бронникова остались такими же, как и были прежде. Только владелец Шелапутин почти незаметно сделал в доме переделки по требованию М.В. Лентовского, снявшего под свой театр помещение закрывшегося Артистического кружка. Да вырос на месте старинной Александровской галереи универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» – огненная печь из стекла и железа...

* * *

Петр Платонович Мещерский, которого жандарм называл «князем», был действи-

тельно потомок обедневшей княжеской семьи. Прекрасно образованный, он существовал переводами, литературным заработком, гонораром за свои пьесы и был некоторое время мировым судьей. Его камеру охотно посещали газетные репортеры, находившие интересный материал для газет.

Это был очень остроумный человек, судья, умевший большинство дел решать примирением сторон, никогда не давая в обиду бедняка, чем и прославился среди малоимущего населения столицы. Он никогда не позволял выбросить на улицу домовладельцу, какого бы высокого ранга тот ни был, семью бедняка за невзнос платы. Бывало, так пристыдит богатея, что тот откажется от иска. Если же какая-нибудь купчиха или ерепенистая барыня судится с прислугой, то он так вышутит истицу, что вся камера покатывается со смеху. Он судил всегда по правде и в конце концов, снискав любовь и уважение населения, нажил себе врагов среди сослуживцев.

– Какой-то нигилист, а не князь! – шипели на него родовитые дворяне.

* * *

Опять скажу: если б не было каната на Театральной площади, я бы прямо прошел из «Челышей» в Кружок... Если б жандарм не задержал нас на три минуты, не было бы и другой знаменательной встречи и не было бы тех слов Петра Платоновича, которые на всю жизнь запечатлелись в моем сердце. Такие слова мог сказать только такой человек, как П. П. Мещерский.

Я с ним познакомился в первые дни моего поступления в Кружок, старшиной которого он был и ведал сценой. Он все вечера проводил в Кружке, приходя поздно только в те дни, когда в Малом театре бывали новые постановки. И всегда – с актерами – будь они большие, будь они маленькие – днем завтракал в «Щербаках», а потом, когда они закрылись, к «Ливорно» и у Вельде, актерских ресторанчиках.

Его знали и любили все актеры, начиная с маленьких, и он был дружен с корифеями сцены, а в Малый театр приходил как домой. Его мнение об игре и постановке очень ценилось, и его указаний слушались знаменитости. Он был другом с Островским, Юрьевым,

Чаевым, Лесковым, Горбуновым. Я видал его в их компании в Кружке неизменно, когда они бывали там. Он приходил рано, садился один за свой любимый стол у камина, рядом с буфетной комнатой, и вскоре к нему подсаживались и драматурги, и актеры, и литераторы. Он был центром для всех, а в «Щербаках» и «Ливорно», где постом все столы были заняты, садился куда придется, а пригласить Петра Платоновича к столу хотелось всякому, и он охотно знакомился с приезжими актерами, будь они первые персонажи или простые хористы.

Все знали театрала князя Мещерского, и все знали, что он не любит, когда его титулуют князем.

– У меня еще имя есть, Петром Платоновичем зовут, – говорил он кому-нибудь из новых знакомых, которые назовут его или князем, или – от чего он морщился – вашим сиятельством. Последнее он особенно не любил.

За глаза же, и даже в провинции, рассказывая о Москве, актеры хвастались, что у них есть друг в Москве – князь Мещерский. И правда – бедноте он был друг, и к концу поста,

когда актеры проживались до копейки, он многим помогал деньгами из своих очень небольших средств.

Он был холост. Жил одиноко, в небольшом номере в доме Мосолова на Лубянке, поближе к Малому театру, который был для него все с его студенческих времен. Он не играл в карты, не кутил, и одна неизменная любовь его была к драматическому искусству и к перлу его – Малому театру. С юности до самой смерти он был верен Малому театру. Неизменное доказательство последнего – его автограф, который случайно уцелел в моих бумагах и лежит предо мною.

В 1908 году, в мой юбилей, я получил от него на полутора листах поздравление: «В. А. Гиляровскому, старому театралу». Вот письмо, теплое и милое, написанное под его диктовку:

«Если Гиляровский хотя с малой сердечной теплотой вспомнит о нас, друзьях его детства, то для нас это будет очень приятно... Да, это было очень давно, то было раннею весною, когда мы, от всей души любя здешний Малый театр, в его славное время, были зна-

КОМЫ».

Письмо подписано: «Старый театрал, член Общества русских драматических писателей», и далее его собственноручная подпись дрожащей рукой, неровными буквами, без всякого нажима, сделанная, по-видимому, лежа: «Князь Петр Пл. Мещерский».

А внизу, опять чужой рукой: «Ново-Екатерининская больница».

Через некоторое время после получения письма я пошел навестить старого друга, которого не видал много лет, и не знал даже, жив ли он, но мне сказали, что его похоронили.

* * *

К театральному подъезду, скрипя железными шинами высоченных колес, дребезжа каждым винтиком, подползла облезлая театральная карета, запряженная парой разномастных «кабысдохов», из тех, о которых поется:

Были когда-то и мы рысаками.

Кучер, в рваном, линючем армяке, в вихрастой плешивой шапке, с подвязанной щекой, остановил своих дромадеров, по-видимому к

великой их радости, у подъезда театра, и из кареты легко выпорхнула стройная девушка в короткой черной шубке с барашковым воротником и такой же низенькой шапочке, какие тогда носили учительницы.

Передо мной мелькнул освещенный солнцем нежный розовый профиль. Она быстро нырнула в подъезд, только остались в памяти серые валенки, сверкнувшие из-под черной юбки.

– Вы видели? – положив мне руку на плечо, сказал спутник.

– Славная барышня! Уж очень у нее движения легки... Вся радостью сияет.

– Еще бы, в балете была! Да не в том дело. А вот вы верно сказали – вся радостью сияет. Это она после вчерашнего. Вы знаете, кто это? Это восходящая, яркая звезда.

– Не знаю.

– Ну так знайте, что эту встречу вы не раз в жизни своей вспомните... Это наша будущая великая трагическая актриса. Я вчера только окончательно убедился в этом... Не забудьте же – Ермолова.

Всю дорогу до «Щербаков» и сидя вдвоем

за ранним завтраком еще в пустой почти зале он говорил – и я в первый раз в жизни был очарован таким человеком и таким разговором. Впрочем, я молчал и, кажется, только единственный вопрос и предложил:

– О ком говорил жандарм? Кто это она «с душком»?

Задаю этот вопрос, а сам думаю с трепетом сердца: «Уж не Ермолова ли?»

Я вспомнил афишу «Овечий источник».

Именно о ней речь шла. Жандарм возмутился выбором для бенефиса такой революционной пьесы и припомнил ее участие на студенческих вечерах. Князь продолжал о бенефисе. Рассказал сюжет «Овечьего источника», рассказал о детстве Ермоловой и ее дебюте, о ее нарастающем успехе.

– Только вчера я неопровержимо убедился в этом. Я вчера пережил такие восторженные моменты, да не один я, а весь театр; такие моменты, о каких до сих пор и в мечтах не было. Монолог Лауренции, обещанной командором ордена Колотавры, владельцем Овечьего источника, призывающей на сходке народ отомстить тирану, вызвал ураган восторга,

какого никто не запомнит. Особенно слова ее в монологе:

Почти своими сдали вы руками
Овечку бедную волчице хитрой -
были произнесены с таким героическим энтузиазмом, какого никогда не слышал даже Малый театр со времени, может быть, Мочалова.

* * *

После завтрака Петр Платонович проводил меня до подъезда Кружка. С этого дня началась наша дружба, скоро, впрочем, кончившаяся, так как я на Пасхе уехал на много лет в провинцию, ни разу не побывавши в этот сезон в Малом, потому что был занят все спектакли, а постом Малый театр закрывался.

Но все-таки постом я еще раз видел, и тоже издали, Ермолову. Это было у нас, на вечере Артистического кружка.

Немало дней и ночей между первой и этой второй встречей я думал о Ермоловой, немало переговорено было о ней за это время с Мецкерским – и великолепный образ артистки всплыл передо мной в ряде картин. Год за годом, шаг за шагом...

Через двадцать лет, в 1896 году, в юбилейные дни Марии Николаевны, я прочел ряд статей о первых годах ее жизни – и прочитанное показалось мне знакомым.

Я уже знал от Петра Платоновича, что пятилетняя Ермолова, сидя в суфлерской будке со своим отцом, была полна восторгов среди сказочного мира сцены; увлекаясь каким-нибудь услышанным монологом, она, выучившись грамоте, учила его наизусть по пьесе, находившейся всегда у отца, как у суфлера, и, выучив, уходила в безлюдный угол старого, заброшенного кладбища, на которое смотрели окна бедного домишки, где росла Ермолова. Там, на этом пустыре, с вросшими в землю каменными гробницами, она одна декламировала монологи. Это грустное место было местом ее гулянья и первых сценических восторгов.

Девяти лет отец отдал ее в театральную школу, где на драму не обращалось внимания, а главным был балет. Танцевали целый день, с утра до вечера, и время от времени учениц посылали на спектакли Большого театра «к воде».

Не давались танцы кипевшей талантом девочке и не привлекали ее. Она продолжала неуклонно читать все новые и новые пьесы у отца, переписывала излюбленные монологи, а то и целые сцены – и учила, учила их. Отец мечтал перевести ее в драму и в свой бенефис, когда ей минуло тринадцать лет, выпустил в водевиле с пением, но дебют был неудачен.

Прошло еще три года. Отец попросил И. В. Самарина, и он, по дружбе, согласился поучить дочь, но через два-три дня от урока отказался и посоветовал оставить дочь в балете.

А она упорно не бросала своего. В училище, во время отдыха, она читала товаркам монологи и восхищала их.

Репетировали для бенефиса Н. М. Медведевой «Эмилию Галотти». Пьеса, по обыкновению, находилась у отца, и дочка, как и всегда, прочла ее, увлеклась, переписала и выучила роль Эмилии и опять в школе прочла товаркам.

Перед бенефисом заболела Г. Н. Федотова. Играть некому. Бенефис пропадает. Кто-то из школы шепнул Н.М. Медведевой о дочери

суфлера, читавшей роль Эмилии. Медведева прослушала, ей понравилось, и 30 января 1870 года в бенефисе выступила молоденькая, неведомая кордебалетная ученица.

* * *

С каким восторгом рассказывал мне все подробности Мещерский, очевидец первого триумфа Ермоловой. На его добрых серых глазах посверкивали слезы, когда он говорил об этом дебюте.

– С трепетом сердца я пришел в театр, но первое появление на сцене грациозной в своей простоте девушки очаровало зал, встретивший ее восторженными аплодисментами... Успех был огромный. На другой день все газеты были сплошной похвалой молодой артистке. Положение ее в труппе сразу упрочилось... А там что ни новая роль, то новый успех.

Ряд разнообразных ролей: и Марфинька в «Царской невесте», и Весна в «Снегурочке», и Катерина в «Грозе», и Альдара в «Сумасшествии от любви», Жанна д'Арк, Лауренция...

Теперь, перечитав целые книги о Марии Николаевне, я вспоминаю Петра Платоновича

ча, слышу его тихий, восторженный голос...

Вспомнил я первые те слова его и 2 мая 1920 года, в великий день всенародного чествования Марии Николаевны в Малом театре, через сорок лет вспомнил.

Я сидел на сцене среди deputаций и вместо приветственной речи, под влиянием общего восторга, памятуя вещее слово незабвенного Петра Платоновича, приветствовал великую артистку тут же на программе набросанным экспромтом:

*Полвека славы,
Красивой жизни
Одна, одна Вы
У нас в отчизне.
Без перемены
Тогда и ныне
Вы русской сцены
Одна богиня.
Одна, одна Вы
У нас в отчизне
В сияньи славы
Кипучей жизни!*

И вспомнилось мне когда-то услышанное от П. П. Мещерского вещее слово.

– Это восходящая звезда!

Тогда для меня, еще молодого актера, увлеченного сценой, она уже явилась великой артисткой, хотя я увидел ее только на один миг: сверкнул и сейчас розовый профиль в морозный день на бриллиантовом фоне солнечного снега...

* * *

Через несколько дней совершенно неожиданно я увидел эту восходящую звезду в окружении светил, ярче всех засиявшую для меня.

Это было в Московском артистическом кружке.

По случаю болезни двух главных артистов отменили спектакль и решили заменить его музыкально-литературным вечером, программа которого была составлена на утренней репетиции, участвующие частью приглашены тут же, а если кто не явится, легко было заменить кем-нибудь из провинциальных известностей, из которых каждому было лестно выступить на московской сцене. А. М. Максимов сказал, что сегодня утром приехал в Москву И. Ф. Горбунов, который не откажется выступить с рассказом из народного быта, С. А. Бельская и В. И. Родон обещали дуэт из опе-

ретки, Саша Давыдов споет цыганские песни, В. И. Путьга прочтет монолог Чацкого, а П. П. Мещерский прямо с репетиции поехал в «Щербаки» пригласить своего друга – чтеца П. А. Никитина, слава о котором гремела в Москве, но на сцене в столице он ни разу не выступал, несмотря на постоянные приглашения и желание артистов Малого театра послушать его. В числе последних была и М. Н. Ермолова, сама прекрасная чтица, давно мечтавшая о Никитине.

Дирекция успокоилась, потому что такой состав сохранял сбор, ожидавшийся на отмеченную «Злобу дня», драму Потехина, которая прошла с огромным успехом год назад в Малом театре, но почему-то была снята с репертуара. Главную женскую роль тогда в ней играла Ермолова. В провинции «Злоба дня» тоже делала сборы. Но особый успех она имела потому, что в ней был привлекателен аромат скандала.

Открыто говорили, что три действующие лица списаны с натуры: петербургский крупный делец барин...ищев; московский миллионер, разбогатевший на железнодорожных

подрядах Петр Ионыч Губонин, и его сын Сережа, которого знали посетители модных ресторанов, как вообще знали там молодых купеческих сынков, не жалевших денег на удовольствия.

Потехин отнекивался, когда ему указывали, что он вывел известных людей, но ему трудно было оправдаться – в афише печатными буквами стояло опровержение, разбивавшее его самозащиту:

«Градищев – железнодорожный деятель, подрядчик Хлопонин и Сергей Петрович, сын его».

Какие созвучия фамилий! А главное вот – Сергей Петрович!

По пьесе Хлопонин хочет женить своего сына на дочери Градищева, в которую тот влюбился, но которая, в свою очередь, влюблена в другого. В этом и драма. Пользуясь запутанными обстоятельствами Градищева, который приехал к нему, товарищу по подрядам, с просьбой выручить его деньгами, Хлопонин обещает, но взамен просит выдать дочь за своего Сережу. Градищев считает себя оскорбленным таким предложением и рас-

серженный выходит из кабинета миллионера, не простившись с хозяином и хлопнув дверью. Оставшись один, Хлопонин расстегивает свой долгополый сюртук, вынимает толстый бумажник, хлопает по нему ладонью и самодовольно бросает вслед оскорбленному барину:

– Придешь!

Этот конец второго акта имел особенно блестящий успех в Москве.

Пьеса написана прекрасно, кончается драмой и смотрится великолепно.

– Как живой Петр Ионыч! – кинул кто-то на спектакле крылатое слово, и на другой день весь город, так и живущий сплетнями, задыхался от смеха:

– Как Губонина-то процыганили!

– Да что ты?

– И сюртук долгополый, и золотая цепь через шею, и сапоги бутылками! Ну как есть живой! И ухватка вся его! И Сережа его... Ну как есть купецкий сынок!

Губонин был крупный миллионер, начавший свою деятельность сперва десятником при постройке Московско-Рязанской желез-

ной дороги, а потом подрядчиком, забравшим и земляные работы по поставке камня, и наконец сделался владельцем крымской жемчужины – Гурзуфа.

– Это моя любовница, – говорил он про Гурзуф и распивал чаек под пушкинским кипарисом, под которым лично для себя беседку выстроил...

После его смерти наследники под этим кипарисом расплескивали, угощая друзей, «пену сладких вин» гурзуфских виноградарей, пока не расплескали и самый Гурзуф, и отцовские миллионы.

Да и не трудно было расплескать миллионы. Два сына Губонина были люди некоммерческие. Отцовское дело было с убытком ликвидировано. Гурзуф продан, из своего дома пришлось выехать на квартиру, и братьев разорили ростовщики. Первое время, пока еще были средства, братья жили широко. Благотворительные генералы и дамы-благотворительницы обирали их вовсю, да вообще у них никому отказу не было в деньгах.

Сейчас, когда я это пишу, жив в Москве старик, который рассказывает, что только

благодаря младшему Губонину он не погиб.

В Москве в то время славился ростовщик А. Д. Кашин, кругом Гарпагона с него пиши. Огромного роста, сухой и костистый, в долгополом сюртуке, черномазый, с ястребиными глазами, он с часу дня до позднего вечера пребывал ежедневно в бильярдной Большой московской гостиницы, играл по рублику партию на бильярде, причем кия в руки не брал, а мазиком с «ярославским накатом». Игру он сводил наверняка, да кто из клиентов отказался бы проиграть ему рубль в ожидании от него переписки векселя. Он прямо царил в бильярдной и главенствовал.

– Вот туда-то я и пошел, – рассказывал старик. – Поставил в бланк, на векселе в восемьсот рублей, родственника выручил, – он возьми да умри! Значит, с меня получать. А я бухгалтером на ста рублях служил, семья большая, сбережений ни рубля, а вексель у Кашина. Вхожу в бильярдную. Он, длинный, стоит у бильярда с мазиком в руках, зверски хохочет. А из-под бильярда вылазит красный весь толстяк в черном, измазанном пылью сюртуке, известный всей гулящей Москве бывший

купец Емельянов, Иван Иванович. Он тогда уже был «на прогаре» и просил о переписке векселя, а Кашин над ним издевался. Проиграл, стало быть, он Кашину рубль и пролазку.

Оглянулся Кашин на меня, не дал мне даже поздороваться и кричит:

«Срок помнишь – хорошо! Ну становись по целковому, бери кий!»

«Да я сроду и в руках его не держал».

«Черт с тобой! Пойдем за мной».

Приводит в комнату рядом. Это, так сказать, его контора, зовет полового:

«Федя, дай чаю полпорции с медом. Получи с них».

Я заплатил полтинник.

«Ну, принес деньги? Давай».

«Нет у меня денег, выручите как-нибудь, Александр Данилыч!»

«Уж это ты судебного пристава проси, когда опишет...»

Я в ужасе, чуть не плачу – рассказываю о своих злоключениях, а он прихлебывает чай да только одно слово и говорит:

«Бывает... Бывает».

А потом встал, пошел в бильярдную – а

там уж его ждут должники – и прямо за ма- зик. Я к нему с просьбой.

«Видишь, занят... Чего торопиться, еще завтра срок... Уходи с глаз».

Вышел я – себя не помню. Пошел наверх в зал, прямо сказать – водки выпить. Вхожу – народу еще немного, а машина что-то такое грустное играет... Вижу, за столиком сидит Губонин, младший брат. Завтракают... А у Петра Ионыча я когда-то работал, на дому проверял бухгалтерию, и вся семья меня знала, чаем поили, обедом кормили, когда я долго заси- жусь. Я поклонился.

«Петр Петрович! Садитесь завтракать... Я вот дожидаю приятеля. Не идет что-то».

Я сам не знаю, как сел и шапку на стол по- ложил. Расспрашивает о семье, о детях, о де- лах. Отвечаю, что все хорошо, а у самого, чув- ствую, слезы текут... В конце концов я все ему рассказал и о векселе и сцену – с Кашиным.

«Ну вот какие пустяки, о чем думать! – Вы- нул из кармана пачку радужных, взял мою шапку, сунул незаметно в нее и сказал: – При- неси же мне вексель от Кашина, да поскорее, чтобы завтрак не остыл... Иди же, иди же, по-

сле расскажешь».

Спустился вниз, Кашин кончил партию, на меня никакого внимания. Подхожу к нему, а он на меня:

«Сказал, уходи. Чего ты?»

Я уж смелости набрался даже до нахальства.

«Давай, – говорю, – вексель, вот деньги!» – Приоткрываю ему шапку...

Он схватил меня за руку, бросил мазик на бильярд и потащил меня в комнатку. Там стоял уж другой поднос с чаем и вазочка с вареньем клубничным, а вместо чашек стаканы. Это он каждого проходящего к нему заставлял спрашивать порцию чаю в угоду буфету – не даром хожу, мол!

Вытащил паук из бумажника пачку векселей и показывает мой.

«Давай вексель».

«Деньги на стол! У меня один первогильдейский вырвал вексель да в один миг слопал... Ухватил меня, держит и лопаает...»

Я выложил деньги, он счел и отдал вексель. А потом сделал хитрую рожу:

«Ну и жулик же ты!»

При прощании сказал ласково:

«Ежели надо кредит, приходи, отказу тебе не будет».

Губонину я предложил выдать вексель на восемьсот рублей, а он отказался:

«Будут лишние деньги – отдадите, а если когда нужда, то к этому мерзавцу не обращайтесь».

Пришло время – Губонина векселя оказались у Кашина. Через несколько лет, когда я уже стал зарабатывать много, я возвратил мой долг в то время, когда уж совсем разорились наследники Губонина.

* * *

Хуже стало с наследством Кашина. Его судили за злостное ростовщичество и сослали в Олонецкую губернию, где он вскоре и умер, оставив после себя единственного сына, малого лет двадцати, которого держал, не отпуская от себя ни на шаг, в строгом повиновении, намереваясь сделать его продолжателем своего дела.

У отца другой клички для него не было в глаза и за глаза, как Данилка. Сухой, жилистый, черноглазый, ростом почти с отца и по-

хожий на него во всем, оставшись круглым сиротой, Данилка – другого имени ни от кого ему и впоследствии не было – ошалел от богатства. Отец не давал ему ни рубля... Первым делом попал в бильярдную Московской гостиницы, где он просиживал целые дни при отце, и встретился там с кутилой Емельяновым, тем самым, которого отец заставлял лазить под бильярд. Не забыл Емельянов разорившего его ростовщика и отыгрался на его детище!

Попал с ним Данилка к «Яру», потом на бега, а там закружил с прожигателями жизни и аферистами. Поймали его на унаследованной им от отца скаредности и жадности к наживе.

Первым делом шулера, которые повели умелую атаку – сначала проигрывая мелкие суммы, а потом выигрывая тысячи... Втравили в беговую охоту, он завел рысистую конюшню, но призов выигрывал мало... Огромный дом у храма Христа Спасителя и другие дома отца были им спущены, векселя выкуплены за бесценок должниками, и в конце концов он трепался около ипподрома в довольно поношенном костюме, а потом смылся с горизонта, безумно и зло разбросав мил-

лион в самых последних притонах столицы.

* * *

Сбор в Кружке на вечер был полный. Взявшие билеты на «Злобу дня» охотно остались на литературный вечер, на дивертисмент с такой интересной программой. Тогда были в моде дивертисменты, а в провинции особенно. Редкий бенефис обходился, чтобы после основной пьесы не было дивертисмента. В те годы очень любили слушать чтение, и чтецы тогда были прекрасные. Читка стихов считалась большим искусством, идеал чтения – чтобы стиха слышно не было. Старая мода скандирования стихов гремевшими трагиками уже прошла, мелодекламация, скрывающая недостатки стиха, была не нужна, потому что стихи выбирались по Пушкину – «если брать рифму, бери лучшую», да и содержание выбиралось глубокое, а главное, по возможности или с протестом, или с гражданской скорбью, всегда со смыслом. Особенно слушался Некрасов.

В провинции дивертисменты имели больше успеха, чем в столицах, да и чтецов между провинциальными премьерями больше бы-

ло. В семидесятых годах на обе столицы славился Монахов, но он был гораздо слабее провинциальной знаменитости – южного актера П. А. Никитина, производившего огромное впечатление своим, им впервые введенным чтением «что стиха не слышно». Он был великолепный Чацкий, он не «играл», а «читал» Чацкого, но так «читал», что о его игре никто и не думал. Монолог «Не образумлюсь, виноват» вызывал бурю восторга с криками «бис».

П. А. Никитина Москва жаждала, но он упорно в ней отказывался выступать, хотя во время великопостных съездов актерских заезжал, бывал в Кружке, но на все просьбы выступить отказывался, хотя и упрашивали первые персонажи Малого театра, его друзья. Появление его имени на афише, вывешенной в залах Кружка, произвело впечатление. Свободный день я провел у моих провинциальных друзей и явился в Кружок к восьми часам, ко второму звонку, когда зал был полон и все сидели на местах, боясь пропустить Никитина. Я прошел на свое место. По сцене – разодетые участники: фраки мужчин и открытые платья артисток и пиджаки старшин. На за-

навеси, как и во всех театрах, посреди сцены была прорезана дырочка, которая необходима режиссеру для соображения: как сбор, разместилась ли публика, можно ли начинать.

Две дырочки были пробиты в правой кулисе авансцены, где стояли табуретки и стул для помощника режиссера, – мое место в спектакле. Я рассматривал знакомых, которых узнал в Кружке и знал по провинции. Ко мне подошел П. П. Мещерский, сел на табурет и сказал:

– Ермолова здесь. Я отвел ей кресло, все хотят П. А. Никитина послушать. Собственно, я для нее больше и постарался пригласить Павлика. Он не любит выступать в Москве... Для нее только он и читает. В десять часов прямо из Кружка на поезд, только для нее и остался, уж я упробил.

– Где она?

– А узнайте!

– Вот против меня... Другой такой нет...

* * *

Программ печатных не было, и перед каждым выступлением режиссер Карташев анонсировал.

– Павел Александрович Никитин прочтет

стихотворение из сборника «Живая струна», — начал он вечер.

Тогда для цензуры не назывались стихотворения, а прямо писали или анонсировали: «из сборника „Живая струна“, так как сборник этот был единственный, допущенный цензурой для сцены.

Гром аплодисментов грянул в ответ. Особенно усердствовали провинциальные актеры, товарищи Никитина по сцене, и антрепренеры, съехавшиеся в Москву для заключения контрактов.

Здесь восседали и казанский Медведев, и орловский Лаухин, и самарский Новиков, и нижегородский Смольков, и ярославский Смирнов, бывший театральный ламповщик, ухитрившийся как-то жениться на дочери антрепренера и получивший после его смерти театр. Его звали «Потому что да-да-да» за поговорку, которую он повторял то и дело. У него, между прочим, в первый раз выступала М. Г. Савина.

Сидели здесь южные антрепренеры и между ними харьковский Иванов-Палач, безобиднейший человек, прозванный так за то, что

это было его единственное ругательство, вырывавшееся у него в минуту крайнего раздражения...

– Палач! Палач! – кричал он на полицмейстера, запретившего какую-то пьесу...

Летом, когда перед спектаклем покажется туча, начинает рокотать гром и грозит дождь, который сорвет сбор, он влезал на крышу театра с иконой молить Илью-пророка, чтобы он направил свою колесницу мимо Харькова, а если Илья-пророк не слушал и дождь шел, он брал икону под мышку, грозил кулаком в тучи и с привизгом кричал:

– Палач! Палач!

А на другой день Илье-пророку в знак покаяния молебен служил.

Первые ряды кресел занимали знаменитости сцены и литературы, постоянные посетители Кружка, а по среднему проходу клубочком катился, торопясь на свое место, приземистый Иван Федорович Горбунов, улыбался своим лунообразным, чисто выбритым лицом. Когда он приезжал из Петербурга, из Александринки, всегда проводил вечера в Кружке, а теперь обрадовался увидеть своего

друга, с которым они не раз срывали лавры успеха в больших городах провинции – один как чтец, другой как рассказчик и автор сцен из народного быта.

Мне Мещерский шепнул на ухо:

– Вот взошла луна золотая.

В этот момент поднялся занавес и показался стройный, высокий, можно сказать, величественный, знаменитый чтец.

Зал гудел и сразу смолк, положительно замер, когда, отвечая на привет легким наклоном головы, чтец остановился рядом с суфлерской будкой. Он на минуту как бы задумался... с чего начать?

– «Поля»! «Поля»! – раздался шепот и громче других голос Горбунова, занявшего свое место в первом ряду, между Г. Н. Федотовой и небрежно одетым маленьким человечком с русой бороденкой, спокойно дремавшим под гул аплодисментов. Это был драматург М. В. Кирилов-Корнеев, автор массы комедий, переводных и переделанных, которые чуть не ежедневно шли и в Малом, и в Кружке, и по всей провинции и давали ему большой заработок.

Сам же он всегда был без гроша – раздаст половину, а другую пропьет. А пьян он был постоянно, но всегда тих и безмолвен. Звали его за глаза Кирюшка-Корнюшка, но все любили его. Он напивался молча, придя в зрительный зал, неслышно дремал, а то и засыпал в кресле.

– «Поля»! «Поля»! – раскатился знакомый Москве громовой голос. Это гудел трагик Николай Хрисанфович Рыбаков. Он сидел в середине первого ряда со своим другом А. Н. Островским, который около гиганта казался маленьким.

Ермолова как раз сидела против меня, левее А. Н. Островского, между косматым С. А. Юрьевым и красавицей Рено, любительницей-артисткой, первой московской красавицей: строго правильные черты лица, глубокие черные глаза и неподвижность классической статуи.

* * *

С благодарной улыбкой взглянул чтец на Николая Хрисанфовича, поздоровался глазами с Горбуновым и, когда смолкли аплодисменты, четким полусшепотом, слышным во

всех концах огромной залы, заявил:

– «Поля»! Стихотворение Майкова.

И полились чудные слова и звуки, дополняя одно другое, и рисовались ясные образы, рожденные словами поэта и переданные слушателям голосом чтеца.

Я невольно скольжу взором по первому ряду. Но одна Ермолова овладела всем моим вниманием. У Федотовой горят глаза. Недвижная ни одним мускулом лица, может быть, думая только о своей красоте, красуется Рено, сверкая бриллиантовой брошкой... А рядом с ней Ермолова, в темно-сером платье, боится пропустить каждый звук.

*В телеге еду по холмам,
Порой для взора нет границ.
И все поля по сторонам,
И над полями стаи птиц.*

Ермолова – вся внимание. Ее молодое лицо живет полной жизнью и отражает впечатления... Какая-то таинственная грусть нет-нет да и отразится в ее глазах... И всегда, и впоследствии, до последней моей встречи, я видел эту грусть... Даже в ролях, когда ее голос и вся она кипела могучим, неповторимым при-

зывом, как в Лауренции или в Жанне д'Арк, я видел этот налет грусти.

Может быть, эти первые впечатления этого вечера оставили в моей памяти то, что поразило меня и осталось навсегда.

Родилась ли она с ней? Залегла ли она в тяжелые дни детства? Дни монологов в одиночестве на забытом кладбище?... Но и теперь, после ее великой победы – недавнего бенефиса, когда именно жить да радоваться, – я видел мелькнувший налет этой таинственной грусти.

*Я еду день, я еду два,
И все поля кругом, поля.
Мелькнет жилье, мелькнет едва,
А там поля, опять поля...*

Слушая чтеца, думы и воспоминания ползут, цепляются одно за другое и переносят меня на необъятный простор безбрежных золотых нив... И все, кто слушает, видит воочию все то, что слито поэтом и неповторимым чтецом в мелодию созвучий.

*Порой ручей, порой овраг,
А там поля, опять поля...*

Я не свожу глаз с Ермоловой – она боится пропустить каждый звук. Она живет. Она едет по этим полям в полном одиночестве и радуется простору, волнам золотого моря колосьев, стаям птиц. Это я вижу в ее глазах, вижу, что для нее нет ничего окружающего ее, ни седого Юрьева, который возвеличил ее своей пьесой, ни Федотовой, которая не радуется новой звезде, ни Рено, с ее красотой, померкшей перед ней, полной жизни и свежести... Она смотрит вдаль... Видит только поля, поля, поля...

*Порой ручей, порой овраг,
А там поля, кругом поля,
И в золотых опять волнах
С холма на холм взлетаю я...*

Короткая пауза, и глаза чтеца все так же смотрят, все так же куда-то вдаль. Во все время чтения – ни малейшего движения, ни одного жеста, только лицо и глаза его недвижимо живут. Он спокойно передает словами то, что переживает, чувствует, ощущает.

*Глядя вдаль, он спрашивает:
Но где же люди? —*

*и отвечает:
Ни души среди забытых дере-
вень...*

И потом так же спокойно рассказывает о встрече со стариком, который просит его подвезти. Предлагает ему сесть рядом с собой, но тот, бывший барский камердинер, после объявления воли выброшенный наследниками за старостью и недовольный всем, еще помнит барскую дисциплину и, отказавшись, садится рядом с ямщиком на облучок, ворчит и ругает все новое, даже волю.

*Отживший мир в его лице,
Казалось, силы напрягал...*

Идет разговор со стариком, который кивнул головой на молодого парня-ямщика.

И все мы, зрители, видим и ямщика и старого камердинера.

Глаза Ермоловой опять покрылись дымкой грусти, но это было уже в последний раз.

*Сердито бросает старик:
Вот парень вам из молодых...
Спросите их:
Куда глядят? Чего хотят?*

*Парень в недоумении:
Никак желанное слово
Не попадало на язык...
– Чего?... – он начал было вслух...
Да вдруг как кудрями встряхнет,
Да вдруг как свистнет во весь
дух —
И тройка ринулась вперед!
Вперед, в пространство без кон-
ца...*

Ермолова откидывается на спинку стула. Мерцавшие зарницы сменились в ее глазах сверкнувшей молнией, будто она сама мчится на бешеной тройке:

*Вперед, в пространство без кон-
ца...*

А чтец, между тем, заканчивает:

*Неслись!
Куда ж вас дьявол мчит? —
Вдруг сорвалось у старика.
А тот летит, лишь вдаль гля-
дит,
А даль-то, даль как широка!*

* * *

Зимний сезон кончился. Мне предстояло

или остаться в летнем помещении Кружка в Москве, или уехать в Смоленск. И я бы угодил в начавшийся тогда набор добровольцев в Сербию, что, наверное бы, для меня добром не кончилось, да опять случай подвернулся. Встретил я казака Бокова, с которым я познакомился еще в цирковые времена, и позвал он меня к себе на Дон.

– Степь-то какая сейчас! Потом съездим на Кавказ, надо кабардинских маток купить! Поживем лето на зимовнике.

Неудержимо потянула меня степь-матушка. Уехали мы со скорым поездом на другое утро – не простился ни с кем и всю Москву забыл. Да до Москвы ли! За Воронежем степь с каждым часом все изумруднее... Дон засинел... А там первый раз в жизни издалека синь море увидал. Зимовник оказался благоустроенным. Семья Бокова приняла меня прекрасно... Опять я в табунах – только уж не табунщиком, а гостем. Живу – не нарадуюсь!

А все-таки иногда жуть берет: вдруг придут Иловайский, Подкопаев, а то еще, чего гляди, мой хозяин, тоже сосед не дальний, пожалует и признает во мне своего беглого та-

бунщика...

Разыграется фантазия – дойдет до жандарма, который на зимовник приезжал. Но скоро пришел этим думам конец.

Собрались мы с моим другом на Кавказ за лошадьми и покатали. С собой взяли двух казаков – лошадей вести.

А в Кабарде у Бокова знакомства большие, таскают нас как дорогих гостей из аула в аул, устраивают охоты, тамаша. Побывали даже в урусбнях на Эльбрусе, турью охоту горцы нам устроили.

Боков удалец хоть куда, но и мне почет немалый был: уж очень поразило их мое цирковое искусство, меткая стрельба да знание лошади – опыт прошлого. К горам, которые я впервые увидел, я скоро привык. Надо сказать, что Боков подарил мне еще на зимовнике свою черкеску, бурку, кинжал – словом, одел меня настоящим кабардинцем и сам так же был одет. Боков взял со стены своего кабинета две нарезные двустволки – охота будет.

Недели три мы гуляли. Наконец Боков зовет домой ехать.

– Пора! Скоро дед именинник! Большой

праздник будет... Весь Дон съедется! Из Черкаска приедут, а уж соседи все будут...

И сразу все настроение испортил:

«Узнают, да еще арестуют!»

Я промолчал – и решил удрать дорогой, поближе к Москве, и пристроиться где-нибудь в театре.

Так и решил, а вышло иначе. И хорошо вышло, как уж я после увидел.

На турьей охоте с нами был горец, который обратил мое внимание: ну совсем Аммалат-бек из романа Марлинского или лермонтовский Казбич. Или, скорее, смесь того и другого. Видно только, что среди горцев он особа важная – стрелок и джигит удивительный, шашка, кинжал и газыри в золоте. На тамаше в глухом горном ауле, где была нам устроена охота, горцы на него смотрели с каким-то обожанием, держались почтительно и сами не начинали разговоров, и он больше молчал.

А разговорился он со мной. Оказывается, почти один из окружающих, он немного владел русским языком. Его заинтересовали некоторые мои цирковые штуки, и хотя он почти не задавал вопросов, но чувствовалось,

что это горская гордость не позволяет ему проявлять любопытство. И я рассказал ему, что я актер, служил в цирке, охотник с детства и нехотя оставляю Кавказ, да кстати у меня и паспорта нет. Разоткровенничался.

Видимо, я его заинтересовал и понравился ему, потому что в заключение он сказал:

– Ты мэнэ кунак – я тэбэ кунак! Моя – твоя, твоя – моя!

И запили слова наши бузой.

* * *

Утром мы выехали чуть свет. Моего кунака уже не было, и на вопрос мой, где он, я получил в ответ одно слово: «Ушла».

И больше ничего не мог добиться.

Через два дня, рано утром, проснувшись в Пятигорске, в гостинице, я увидел на стене объявление, что драматической труппой Максимова-Хриistica открываются спектакли. И ожил сразу. За чаем я сказал Бокову, что я останусь на несколько спектаклей, а через две недели приеду к нему на зимовник, на чем мы и порешили. В девять часов со случайным попутчиком, офицером, окончившим лечение, Боков поехал в Россию. Я ре-

шил проводить друга, а потом идти на Машук, побывать на могиле Лермонтова, моего самого любимого поэта в гимназии, а затем отправиться к Максимову-Христичу.

Прощаясь еще в номере, Боков взял слово, что если не выйдет с театром, – ехать к нему.

* * *

Но не пришлось мне ни попасть в театр, ни поехать на зимовник Бокова и, первым делом, не подняться на могилу Лермонтова.

Тут случилось что-то необъяснимое. Я подходил уже к той тропинке, по которой надо взбираться в гору, как послышалась тропота и быстрой ходой меня догоняли три всадника на прекрасных гнедых кабардинках. Четвертую, такую же красавицу, с легким вьюком вели в поводу. Первая фигура показалась знакомой, и я узнал моего кунака. За ним два джигита, таких же высоких и стройных, как он, с лицами, будто выкованными из бронзы: один с седеющей острой бородкой, а другой молодой.

Кунак прямо с ходу осадил коня, что сделали, будто по команде, и спутники, остановился и подал мне по-русски руку.

Через несколько минут, шагах в пятидесяти от дороги, в густом кустарнике, мы сидели с кунаком на траве, и я рассказывал ему свои обстоятельства.

– Ва! Мы кунаки! Мои деньги – твои деньги, мой лошадь – твой лошадь! – И предложил мне гулять с ним, пока я хочу. – Охотиться будем... Туда-сюда поедем. Хорошо будет.

Он мне говорил «ты», и я ему тоже.

– А как тебя звать? – спросил я.

Шевельнул он правой рукой, и вмиг вырос перед нами один из джигитов, который постарше, и он ему что-то сказал.

– Ага! – и еще несколько непонятных мне слов, приложив руку к голове и сердцу, произнес джигит.

– Ага! – отозвался ему громко мой кунак и при этом сделал такой жест ладонью, будто отрубил что.

– Ага – и больше ничего. Тэбэ я – кунак, им – Ага. – Джигиты разостлали перед нами бурку, вынули из переметной сумы сыр, чурек, посудину и два серебряных стакана. Я залюбовался его лошастью: золотисто-гнедая с белой звездочкой между глаз и белой бабкой

на левой ноге. Лошади с такой приметой ценятся у восточных народов: на такой Магомет ездил. Я молча созерцал красавицу, а он и говорит:

– Это мой лошадь, а это твой, тэбэ дару!

И опять незаметный жест правой рукой, и старый джигит вмиг развьючил лошадь – под буркой оказалось серебром отделанное седло с переметными сумами. Остальной вьюк они распределили на своих лошадей и по знаку Аги положили передо мной в чехле из бурки коротенькую магазинку-винчестер.

– Это тэбэ!

Во вьюке еще остались две такие винтовки в чехлах. В первый раз в жизни я видел винчестер, и только через год с лишком много их попадало мне в руки на войне – ими были вооружены башибузуки.

– Хаирбулсын кунак! – искренне поблагодарил я его за подарок, пока единственным словом приветствия, которое слышал... Я любовался своей лошадью и радовался винтовке. Все это понравилось кунаку. Он приветливо улыбнулся и спросил:

– Едым?

– Едем, – согласился я.

– Едым!

Больше нечего было ответить. Спросить, куда? Оскорбить кунака недоверием или, что еще хуже, показать свое любопытство.

И я улыбнулся, любуясь конем, и сказал еще раз:

– Едем!

А почему я улыбнулся? Да потому, что мне при этом пришла в голову старинная поговорка: «Ехать, так ехать, сказал попугай, когда его тащила кошка из клетки».

* * *

– Ты в городе не оставил каких-нибудь писем или бумаг?

– Только бурку.

Опять мигнул пальцем правой руки, и старик отторочил от седла легкую, как пуховое одеяло, бурку.

* * *

По каким только горным трющобам мы не ездили! Каких людей я не насмотрелся! Каких приключений не было! Всему этому будет, может быть, свое время, а пока я знаю, что благодаря этим встречам я не попал в Сер-

бию, что непременно бы случилось, если б я вернулся в театр или попал на Дон.

* * *

Нальчик, столицу Кабарды, мы незаметно миновали поздно вечером. Проехали мимо лежащего рядом с Нальчиком Большого аула, где для местных князей светил огнями и гремел шумом тамаша, и заночевали в отдельной легкой постройке, кунацкой, на широких низких скамьях, обитых коврами. Огня не зажигали и перед рассветом выехали в путь, в страшное ущелье, которое перед нами зияло.

Вспоминаю Лермонтова:

Как трещина, жилище змея...

И действительно, бурно вьющийся излучинами Черек был этот бешеный змей, вырвавшийся из ледников Каштан-тау. Около полусотни километров сверкала изломами узкая трещина, и на всем ее протяжении не живет ни одного человеческого существа... Только там, под ледниками, на другом берегу Черека, лепится к скалам заоблачный аул Безенги, а там, за ним, две вершины неведомого Каштан-тау, по обе стороны которого снега горно-

го хребта и будто бы перевал, истари известный в этом единственном в этих горах ауле под названием «Магометова дорога».

Должно быть, потому, что по ней, кроме Магомета, да и то по древним преданиям, никто не ходил... Да, как я уже после узнал, она была известна моему кунаку Аге и его джигитам, составлявшим как бы часть его.

Восход солнца мы встретили на конях, в ущелье.

Еще в самом начале, около Большого аула, где мы ночевали, были еще кое-какие признаки дороги, а потом уж мы четверо, один за другим, лепимся, через камни и трещины, по естественным карнизам, половиной тела вися над бездной, то балансируем на голых стремнинах, то продираемся среди цветущих рододендронов и всяких кустарников, а над нами висят и грабы, и дубы, и сосны, и под нами ревет и грохочет Черек, все ниже и ниже углубляясь, по мере того как мы поднимаемся.

Вырываются из-под ног огромные дикие индейки джостухи, звенят, вырываясь из кустов, фазаны, и дорога оглашается пением

птиц... Высоко над нами парят огромные беркуты, носятся соколы. Раз медведь перелетел через нас. Да, я не шучу. Несчастный бурый, облезлый мишка высоко над нами пробирался по висевшим над бездной корням деревьев. Я было начал снимать винчестер, как вдруг раздался страшный рев, треск – и бедный, оборвавшийся зверь вместе с кустом, в клубах пыли сверкнул мимо нас, перелетел через нашу тропинку и загромыхал в бездну, где шум падения был заглушен ревом Черека. Ни Ага, ни его спутники не обратили на это никакого внимания, и лошади спокойно продолжали лепиться по неровному карнизу, хотя падение было в нескольких шагах впереди нас.

– Нас пугался, ма-ладая, людей не видал, – пояснил мне Ага.

Это была одна из десятка фраз, слышанных мною за время нашего пятидесятикилометрового подъема до самой Чертовой лестницы, где ни один русский, ни один европеец до меня не бывал.

* * *

Вскоре за падением мишки мы сделали

привал на довольно широкой горной долине, посредине которой – красота незабываемая – голубело перед нами довольно широкое озеро, голубое, как сапфир на солнце. На земле такого огромного правильного пространства голубого я никогда не видал: будто кусок прозрачного неба каким-то чудом лежал перед нами в этой каменной трещине, среди нависших скал. Но не только небо голубело, в нем сама вода оказалась голубая. Ага молча взял два больших белых камня и бросил в воду. Они из белых стали сразу темно-голубыми, синели и пропали в глубине темно-синими. Кругом пахло серой. Нукеры вынули из переметных сум холодную жареную баранину, чуреки, козий сыр, большие тыквенные горлянки с бау-бузой, этим чудным хмельным, чисто кабардинским напитком из меда и пшена, и две старинные, серебряные стопы с пероисским рисунком. Чудную голубую воду пить было нельзя – она пахла серой...

Ага пояснил мне, что дальше есть еще такие озера.

И действительно, оказалось выше, одно над другим, на протяжении нескольких кило-

метров три голубых озера с еще более сильным запахом серы...

Кончились горные поляны – и снова отвесные скалы с непроходимыми висячими кустарниками и узкими карнизами, иногда загроможденными камнями.

Наконец и этот путь прегражден; наша тропинка слева, так же как и все время пути, жалась к каменной скале, закрывавшей от нас небо, а справа кустарник. Мы прямо уперлись в скалу. Дальше некуда.

Ага, не останавливаясь, у самой скалы, загромодившей нам путь, свернул молча, как всегда, направо в кустарник – и перед нами открылась бездна Черека с висящими стремнинами того берега. Он остановил лошадь, обернулся ко мне и, указывая вниз, объяснил, что «пайдем вниз, там мост, а там», указывая в небо, выше противоположной стены берега, – там и аул Безенги. Стал спускаться, откинувшись телом назад и предоставив лошади свою жизнь и дав ей полную свободу.

Это страшнее, чем весь наш подъем. Но я знал, что лошадь горная не выдаст, а наши лошади, принадлежащие Аге, были именно

такие, какие были необходимы этому удивительному горцу, окутанному непроницаемой тайной.

Глядя на его покойную фигуру, на молчаливых горцев, его нукеров, я чувствовал себя спокойным – да, собственно говоря, чего мне было бояться? Для кого мне себя беречь? А такая прогулка интересна, да еще впереди увлекательная охота на туров, новые места, новые люди и неизведанные ощущения. Нет, надо пользоваться случаем – едва ли что-нибудь более смелое и красивое повторится в жизни... А тут еще живы в глазах голубые озера, еще галлюцинация обоняния сохранила серный запах, а внизу с каждым шагом все яснее и яснее шум Черека!

Вдруг ясно услышал я блеяние, хотел остановить лошадь, но чуткий Ага не допустил меня окриком:

– Коша!

И в тот же момент сквозь раздвинутый его лошадью кустарник я увидел под нами полянку, а на ней стадо коз.

По примеру Аги мы остановились. Он перекинулся словом с пастухами. Они броси-

лись к козам и через минуту надоили и подали ему и мне по чашке ароматного, густого молока. Это было и лакомство и оживило меня. Нукерам тоже дали после нас по чашке, и мы двинулись. Ага бросил мальчуганам горсть серебра, и те молча ему кланялись, прикладывая руку то ко лбу, то к груди.

Полянка кончилась, а Черек ревел все сильнее и сильнее. Вот уж он виден, весь белый от пены, мчавшейся непрерывным, курчавым взметом на узком пространстве между берегами. А вот и мост висит через пропасть.

Удивительный мост! Будто оторвали дно от плетеной корзины, увеличили его в сотню раз, перекинули каким-то чудом через огромный пролет и сверху наложили еще несколько таких же днищ... Внизу, глубоко под ним, ревет, клубясь белой косматой пеной, река, в которой воды не видно, – пена, пена и пена и облака брызг над ней.

Запах раскаленного кремня сменился приятной влажностью. У самого моста Ага, не оглянувшись даже на нас, спрыгнул на камни и, перекинув во всю длину повод через голову коня, взял его конец в левую руку и пошел по

зыбкой плетушке.

Я вмиг повторил то же, что и Ага, и, перекинув повод, двинулся на мост. Но передо мной вырос старший джигит и парой непонятных слов, без всякого выражения на своем каменном лице, движением руки, ясно дал мне понять, что надо сперва пропустить первого, а потом идти одному, а там, мол, за тобой и мы поодиночке переправимся.

Когда Ага входил на противоположный берег, он рукой сделал мне знак – иди!

Я вступил на зыбучий плетень без всякого признака перил. Мне жутко показалось идти впереди коня с кончиком повода в руке. То ли дело, думалось, вести его под уздцы, все-таки не один идешь! Но было понятно, что для этого удобства мост был слишком узок, и я пошел самым обыкновенным шагом, не тихо и не скоро, так, как шел Ага, и ни разу не почувствовал, что повод натянулся: конь слишком знал свое дело и не мешал движению, будто его и нет, будто у меня один повод в руках.

Я знал, что в таких переправах нельзя смотреть вниз, особенно здесь, на грохочущие буруны, но приходилось смотреть под

ноги, того и гляди, заплнешься за торчащую ветку или нога попадет на какую-нибудь неровность зыбившегося подо мной висячего пути.

А Черек будто переливался под нами, то под двумя моими ногами, то под четырьмя ногами лошади. Впереди, на том берегу, недвижимой статуей стоял красавец Ага, блестя золотым кинжалом на темной черкеске, смотря куда-то вверх по течению так, что глаз его я не видел. Это опять-таки прием бывалого горца: не мешать человеку своим взглядом. И это я понял, когда остановился рядом с ним, когда перешел уже в полном покое и сказал ему, радостно улыбаясь:

– Хорошо здесь!

– Джигит! – ответил он, улыбнулся мне, показав белые ровные зубы из-под черных усов, и поправил рукой выбившуюся челку моей лошади. – Джигит! – еще раз похвалил меня и, кивнув головой кверху, сказал: – Там!

Нукеры перешли, осмотрели подпругу моего коня, и через минуту мы двигались в том же порядке вверх по течению, лепясь по узенькой тропинке, протоптанной козьим

стадом на полотне каменной осыпи от отвесных скал к руслу Черека.

Дорожка зигзагами опускалась ниже, к воде, и скоро мост уже был высоко за нами. Спускаться было нелегко, осыпь, миллионы мелких осколочков выветрившихся скал сплошь сползали под ногами, лошади со всадником приходилось делать много усилий, чтобы не сползти вместе с осыпью. Буруны пены были как раз под нами, и некоторое время лошади шли по мокрой осыпи, и нас слегка приятно охлаждало туманом мелких брызг.

Черек ревел оглушительно, кувыркая камни. Путь пошел кверху. Ага спрыгнул с лошади, перекинул через голову коня повод. Повторился переход по мосту. Но здесь идти было физически трудно: мелкий камень осыпи рассыпался и полз, а с ним ползли ноги в мягких чувяках.

И вот, представьте себе, держа в руках повод, который ни разу не натянула лошадь, справлявшаяся с осыпью лучше, чем нога человека, этот свободный повод был моей поддержкой, и я чувствовал с ним себя покой-

ным. Может быть, потому, что рукам дело было? Правая с нагайкой – баланс, левая – поддержка.

Через много-много лет, уже в начале этого века, я высоко над Москвой испытал подобное чувство еще ярче. Знаменитый тогда мой старый друг и ученик по гимнастике, авиатор Уточкин делал свои первые московские полеты на Ходынке на неуклюжем своем «Фармане», напоминавшем торговый балаган с Сухаревки. Впереди – отгороженное место авиатора, сзади – совсем неотгороженная деревянная скамья обыкновенная, без спинки и ручек, табуретка, прибитая гвоздями к двум деревянным продольным балкам-полозьям – основанию аэроплана. Чтобы сесть на эту табуретку, надо было пробраться между сети тонких проволок, что я и сделал с трудом, с моей широкой фигурой, и поместился на очень маленькой табуреточке, закрыв ее всю и поставив ноги на дощечку, для этой цели положенную поперек перекладин. Приветствия, пожелания провожающих в полет, который первый в Москве, в виде опыта, предложил мне по-дружески Уточкин... Потом рев пропел-

лера, тряска и прыжки колес по неровной Ходынке. Вдруг – чувство, что сердце встало и дыхание захватило: я оторвался от земли! Затем аппарат плавно двинулся по воздуху вверх. Ощущение, когда земля проваливается под ногами, я уже испытал и прежде, при подъеме на аэростате, но эта ужасная табуретка! Но эти – еще ужаснее! – проволоки, за которые при каждом крене поворота хочется схватиться, так и тянут руки к себе! Подомной скачки... Я вижу толпы на трибунах. По зеленому кругу цветные камзолы жокеев, выезжающих на старт. А далее Москва, Москва с ее золотыми куполами, садами, кольцом Садовой. А все-таки жутко... Я уже омосковился, отвык от бродяжных рисков юности. То и дело руку тянет к погибельным проволокам.

И вдруг я нащупал в кармане табакерку, о которой забыл в тревоге полета.

И ожил! Вынул ее. Сжал в руках и чувствую, что держусь за что-то прочное, – и о проволоках забыл! Забыл о своей боязни, открыл, с величайшим наслаждением понюхал – и все время играл этой табакеркой, думая только, как бы не уронить ее, до тех пор

пока опять не запрыгали колеса по земле и я не стал на твердую землю,

* * *

Подъем все продолжался... Только раз я почувствовал повод. Это на миг лошадь поскользнулась. Перед нами пещера в скале. Сверху рядом мелких каскадиков струятся ключи. Ага остановился, сказав, что надо отдохнуть – дорога будет трудная. Через минуту мы и лошади наслаждались великолепной холодной водой, может быть, бегущей из ледников Каштан-тау.

Все дно пещеры усыпано было голышами, какие попадались иногда и в осыпи, только здесь они поразили меня удивительными своими формами. Это был сыроватый известняк, которому, может быть, сотни тысячелетий придали совершенно правильные и причудливые формы, выточив, как самый лучший токарь, то в виде гитары, то круглым пирожком с правильными выпуклостями сверху и снизу, то полумесяцем, то фигурой человека на одной ноге – самые разнообразные формы, и на всех камешках следы вращательного движения – круговые полосы.

Голубые озера, причудливые камешки в каскадах пещеры и наконец я сам, как живой, перед собственными своими глазами, на розовом фоне позолоченных утренней зарей снегов. Чуть розовеет заря. Бездны еще хранят мрак ночи. Я пробираюсь с винтовкой наготове по турьей тропинке, по которой стадо должно возвратиться с ночного пастбища на недосягаемые выси ледника. Туман то розовел, то сгущался... Я остановился, прислушиваясь, и вдруг передо мной, над зияющей подо мной черной пропастью, появляется гигантская фигура человека, как бы парящего в воздухе. Я уже ясно вижу папаху, руку, опершуюся на винтовку, даже ногу, отставленную на камень...

Сердце захолонуло. Я все забыл: где я? что я? Я вижу себя стоящим в необъятном просторе: мрак бездны глубоко внизу, розовое золото двух снеговых вершин над моим, гигантских размеров, вторым «я». Стою, не в силах пошевелиться. Второй «я» зачаровал меня, поглотил весь мир. Он начинает бледнеть и как будто таять.

Грянул выстрел, загрохотали горы, стадо обезумевших туров на миг сверкнуло надо мной по стремнинам...

Недосягаемые вершины таинственного Каштан-тау загорелись сплошным розовым алмазом в лучах невидимого еще солнца. Передо мной сверкнул огненными глазами не менее таинственный, чем Каштан-тау, мой кунак и с улыбкой указал на повисшего на скале убитого тура.

О турах я читал в естественной истории еще гимназистом, а об охоте на туров я слышал тогда же от друга моего отца, от старого и знаменитого на всю Вологодскую губернию охотника Ираклиона Корчагина, в кабинете которого среди всевозможных охотничьих трофеев, вплоть до чучела барса, убитого им в молодые годы во время службы на Кавказе, были еще два огромных турьих рога, один как есть натуральный, а другой в серебре, служивший кубком. В него входило больше бутылки вина – и много удовольствия он доставлял своему владельцу. Когда на праздниках к нему съезжались гости, все хорошо уже изучившие этот кубок, а между ними являлся

кто-нибудь новый, то ему за обедом подносили этот рог, наполненный или легким вином, или прекрасным домашним пивом. Помню, в Ильин день, при мне, обедал у него в числе гостей гвардейский офицер, хваставшийся, что он всех перепьет. Ему Ираклион налил по его выбору лафиту.

Поднявшись во весь свой громадный рост, гвардеец захотел щегольнуть перед старыми охотниками-питухами – выпить залпом, приложил рог к губам и лихо опрокинул его...

И все содержимое хлынуло на грудь, и белый китель стал красным.

Общий хохот. Страшно рассвирепел гвардеец, запахло дуэлью, но все гости успокоили его, что, мол, все это с ними было, а сам Ираклион налил в кубок тоже лафита и показал, как надо пить. Он приложил кубок к губам и, почти не поднимая, стал его слегка повертывать, отпивать понемногу и, не отрываясь, закончил все.

И десятки лет спустя этот случай меня выручил. Мне на Кавказе поднесли турий рог с кахетинским, тоже в надежде поглумиться, но я вспомнил Ираклиона и выпил кубок под

пление «Мраволжамири» и аплодисменты.

Это было уже тогда, когда я повидал туров на заоблачных стремнинах Чеченских и Балкарских и под ледниками Эльбруса.

Я увидел их возвращающихся в свои неприступные ледники с водопоя и пастбища по узкому карнизу каменных скал. Впереди шел вожак, старый тур с огромными рогами, за ним поодиночке, друг за другом, неотрывно все стадо. Вожак иногда пугливо останавливался поднимал голову, принюхивался и прислушивался и снова двигался вперед. Стадо шло высоко надо мной и неминуемо должно было выйти на нашу засаду, так как это единственная тропа, исключительно турья, снизу на ледник, где они должны быть при первых лучах солнца.

И видел я это стадо, перелетающее семифуттовую бездонную трещину вслед за своим вожаком, распластавшимся на секунду в воздухе, с поджатыми ногами и вытянутой шеей, и ни секунды не задержавшимся на другой стороне трещины: он не перелетел, а скользнул через пропасть и исчез за скалой. И все стадо, все пятнадцать рыжих красавцев скользнули

за ним, смело и уверенно, почти ровной гирляндой: еще не успел первый оставить точку опоры, как за ним летит следующий, на секунду займет место первого и вмиг исчезает... Так все один за другим! Картина неопиcуемая...

И наши винтовки молчали, потому что бесцельно было убивать над пропастью, недосягаемой для человека, и, кроме того, мы знали, что через несколько минут все стадо поднимется к нам, на свой обычный путь... Мы знали, что чуткий вожак не ожидает нашего присутствия, так как ветер дул не от нас, а снизу, откуда шли туры... И вот они так же степенно, в сотне шагов от нас идут вереницей, но стрелять нельзя: убьешь на узком карнизе – упадет в пропасть. Мы ждем, пока они выйдут на широкую площадку, вдавшуюся в глубь скал, изрытых пещерами. А за площадкой тропа переходит опять на узкий карниз, вплоть до ледника, порозовевшего уже на короне от лучей восходящего солнца.

Вместе с первым лучом переменялся ветер. На секунду остановился вожак и стремглав ринулся вперед: тур почти никогда не

возвращается назад – другого пути на родной ледник нет.

С быстротой метеора мелькнуло мимо нас стадо... Грянули выстрелы почти залпом, а потом еще четыре из наших винчестеров поодиночке, чтобы добить двух подранков. Остальные исчезли за углом скалы быстрее выстрелов магазинки. Охота была великолепная: четыре красавца козла лежали на камнях. Пятый, раненный, должно быть, слетел в пропасть и исчез из глаз в густом кустарнике на страшной глубине... Доставать его – и думать нечего.

Вот тут-то в первый раз я и осмотрел тура. Вожак был ростом с годовалого теленка; огромные рога говорили о его почтенных годах. Он был темно-бурый, шерсть грубее, чем у остальных, грива гуще. Золотея на поднявшемся из-за гор солнце, они очень были похожи на рыжих светлобрюхих телят, только хвост, как у козы. И странно – копыта у них не жесткие, несмотря на то, что они вечно на камнях, а какие-то упругие, будто из твердой резины. Осмотрев эластичные раздвоенные копыта, я понял удивительный прыжок-по-

лет через пропасть.

* * *

Рога вожатого имели поперечные ребра необыкновенно толстые. Глядя на них, можно было действительно поверить не раз слышанной даже от кавказских охотников легенде, что старый тур в минуту опасности бросается с огромной высоты, падает на рога и встает невредимым. Может быть, действительно таково их устройство, что оно распределяет и ослабляет силу удара? А эти парные поперечные ребра рога сломаться ему не дают.

Одно мне пришлось наблюдать во время моих горных скитаний: я видел, как тур пробирался по отвесной скале и время от времени упирался рогом в стену, а иногда, должно быть уж в очень опасных местах, то наклонял, то поднимал голову, то вытягивал шею. Что рога ему служат балансом и поддержкой, это ясно.

И еще ясно – что это его краса и рыцарские доспехи. Горные пастухи и старые охотники видели драки каменных козлов на их турнирах из-за обладания самкой.

Москва в первый раз увидела туров в восьмидесятых годах. Известный охотник городской инженер Н. М. Левазов, тот самый, который очистил авгиевы конюшни Неглинки, основав Русский охотничий клуб, поехал на Кавказ охотиться под Эльбрусом и привез трех красавцев туров, из которых препаратор Бланк сделал великолепные чучела. Они и стояли в первом зале Охотничьего клуба вплоть до его закрытия уже после Октября. Но видеть их могли только члены и гости клуба.

Остальным москвичам приходилось знакомиться с турами в шашлычной Автандилова, заказавшего какому-то кавказскому предшественнику Коненкова вырубить и вырезать из одного куска граба большого тура на скале, который много лет, как живой, красовался в его заведении. Под ним нередко сиживал с друзьями Василий Осипович Ключевский, любитель выпить стакан доброго розоватого карданаха и съесть шашлык из настоящего карачаевского барашка.

Остальную Москву знакомил с туром гру-

зинский винодел, тифлисский мещанин Сараджев, у которого такой же деревянный тур стоял в его московском складе на Лубянском проезде. Над дверями склада по сторонам вывески были изображены два красных тура, и, кроме того, на всех его бутылках с настоящим виноградным коньяком и ликерами на виноградном спирте всегда изображался тур. Эта его торговая марка известна была всем питухам, которые требовали, приходя в винный магазин, «козла с тремя звездочками», и им торговец молча подавал сараджевский коньяк.

«До козла допились!» – ходила еще поговорка.

* * *

Конечно, все это я узнал много после, а в то время смотрел, как три горца, проводники ишаков из аула, где мы оставили лошадей, потрошили туров.

Ага дотронулся до моей руки мизинцем – он не любил лишних слов – и указал на самый верх скалы по другую сторону ущелья.

Там, освещенный солнцем, виднелся огромный орел-стервятник, а над ним высо-

ко-высоко кружил в воздухе еще один.

Указал Ага и молча стал перебирать четки. Это его любимое развлечение. Ни он, ни его джигиты, ни я – никто из нас не курил.

* * *

Какой беспроволочный телеграф у грифов? Появилась еще пара и кружила над нами...

С одного тура наполовину сняли шкуру. Вырезали «суку», по-местному филей, и разложили костер для шашлыка. Этим занялись наши джигиты. Дрова предусмотрительно были привезены на осликах и свалены в довольно большой пещере, где стояли ишаки и где ночевали их вожатые. Это одна из пещер, которые служат гнездилищем для джостух и курочек – здесь они всегда выводят детей, здесь же ютятся в холодные, снежные зимы вместе с ними и туры. Они спускаются сюда с ледников и находят себе приют и питание: птицы им запасают корм – благодарные туры поедают собираемые на гнезда травы и ветки. Во время горных метелей и невыносимых морозов, не будь этих пещер, туры были бы обречены на гибель, и, в свою очередь, птицы голодали бы, если бы не кормили своих го-

стей, желудки которых отлично переваривали сухие ветки и бурьян.

* * *

Прошло около двадцати лет. В обманчивых снегах таинственного Каштан-тау погибли первые его исследователи – два англичанина и два проводника-швейцарца. Приезжавшие на розыски погибших из-за границы не нашли никаких следов. В 1889 году розыски продолжались.

Я приехал в Нальчик с женой и дочерью отдохнуть на лето, завел кунаков среди балкарских горцев и отправился с двумя из них к ним в гости, в их почти недоступные аулы.

Знакомое мне ущелье Черека уж стало не то: вместо головоломного карниза, по которому мы тогда бедовали, проложена дорога, по которой ездили арбы. Кое-где рабочие раздвигали дорогу. В том самом месте, где мы тогда остановились перед скалой, заградившей путь, стояла рабочая казарма и жил инженер.

Скала была взорвана, и в пещере находился склад пороха и динамита. Дорога пока дошла только до этого места. Мы спустились к Череку, к мосту по «чертовой» лестнице, по

отвесу, не тронутому инженерами. На том же месте стадо коз. Такой же мост из прутьев. Тот же подъем по осыпи, по тропинке, ведущей в Безенги, к леднику у Каштан-тау. Горцы сказали мне, что как начали прокладывать дорогу, так туры исчезли. С той поры не был я в тех краях.

Не был я там, где в 1876 году в последний раз видел моих таинственных спутников.

В последний раз помню перед своими глазами плавные движения правой руки Аги с его толстым серебряным перстнем на большом пальце. Кольцо очень толстое, в виде веревки, с поперечными золотыми насечками. Меня всегда интересовало, почему он носит кольцо на большом пальце, но я, по обыкновению, не спрашивал его, а узнал через много времени, увидав стариков-горцев, носивших так же кольца.

Это старинная черкесская мода: у кремневых ружей были такие маленькие и тугие курки, что их без кольца трудно было взвести. Ружья стали другие, но мода перешла к детям. Потом я сам некоторое время щеголял старинным бронзовым кольцом на большом

пальце, которое и подарил В. Е. Шмаровину, московскому собирателю редкостей.

Помню я плавные движения руки моего кунака в этот яркий солнечный день на грани ледника, по которому шла тропинка перевала.

Под нами был весь Кавказ с его снеговым хребтом, с пропастями, стремнинами, пиками, а ниже – с курчавой зеленью лесов. Вдали юг и восток были закрыты туманами, и Черное море сияло, как эмаль, а на севере пестрели леса, плавни, степи, беспредельные, местами подернутые мглой...

За солнечным днем наступила ясная морозная ночь, безмолвная, как и мои спутники. Я долго не спал, бездумно любуясь заоблачными пейзажами, где чередовался блеск снега с мраком пропастей. Надо мной особенно ярко горела звезда – я только что ее заметил и сразу перенесся в Москву. Вот я на Театральной площади, передо мной вышла из кареты девушка, мелькнуло ее улыбающееся личико, розовое на ярком солнце, и затем она исчезла в двери Малого театра... Опять я вижу серые валенки, опять я чувствую, прямо

вот чувствую, ласковую руку Мещерского у себя на плече и сквозь сон слышу его слова о Ермоловой:

– Это восходящая звезда...

* * *

В полудремоте я любовался чудесными картинами... и проснулся: ничего не вижу, кругом грохот, меня подбросило, и я куда-то полетел.

В первый раз я очнулся в дымной сакле. Я лежал на полу на бурке и не мог пошевелиться – все болело. Седой черкес с ястребиным носом держал передо мной посудину и поил меня чем-то кислым, необыкновенно вкусным. Другой, помоложе, весь заросший волосами, что-то мне говорил. Я видел, что он шевелит губами, ласково смотрит на меня, но я ничего не понимал и опять заснул или потерял сознание – сам не знаю.

С каждым днем я поправлялся. Кроме парного молока, я ел шашлык из козленка с горячими чуреками, которые пек молодой черкес и еще два его пастушонка. Они пасли стадо на этом коше в жаркие месяцы.

Старик, который ухаживал за мной, ока-

зался доктором. Он тоже черкес, как пастухи и мои кунаки. Он объяснялся со мной только знаками, мазал меня, массировал, перевязывал, и, когда я обращался к нему с вопросами, он показывал мне, что он не понимает и что говорить мне вредно. Это он показывал так: высовывал язык, что-то болтал, потом отрицательно качал головой, ложился на спину, закрывал глаза, складывал руки на груди, представляя мертвого, и, показывая на язык, говорил:

– Юклайка!

Это значит – умрешь, если будешь говорить,

И все заставлял пить парное молоко. Я уже начал понемногу сперва сидеть, потом с его помощью вставать и выходить раза два в день из сакли, посидеть на камне, подышать великолепным воздухом, полюбоваться на снега Эльбруса вверху и на зеленую полянку внизу, где бродило стадо чуть различных коз.

Через неделю еще я уже выходил сам, спускался вместе с ним к стаду, пил там обязательно парное молоко и возвращался обе-

дать – кисленький суп из вареного козленка, а потом уже и шашлык.

Я поправлялся и креп с каждым днем. Одно меня мучило: где мой кунак и как я попал сюда? Я это узнал, когда уже почувствовал, что ничего у меня не болит, слабость проходит, головокружение не повторяется и мускулы вновь налились и стали твердыми.

После утренней прогулки к стаду мы поднялись по козьей тропке на скалу, к которой прилепилась, служа продолжением пещеры, наша сакля. Мой старик показал мне на север, где в пролетах между ледниками зеленели леса и далеко за ними маячила степь, своей дымкой сливаясь с горизонтом. Похлопал он меня по плечу; его строгие глаза развеселились, ястребиный нос сморщился, и все лицо осветилось улыбкой:

– Теперь ты совсем здоров и можешь говорить и слушать.

Я прямо ошалел и смотрю на него с раскрытым ртом.

– Не удивляйся, что я так хорошо говорю по-русски, – в молодости я долго жил в Тифлисе, там изучил вашу медицину, прибавив ее к

своим горским знаниям. Мой отец тоже лечил своих.

А я все молчу – слушаю.

– Успокойся и слушай. Конечно, первое тебе интересно, где твой кунак?

– Да, но я больше удивляюсь...

– Никогда ничему не удивляйся. Мне твой кунак все рассказал о тебе и сказал, что надо. Тебе он кунак, а мне и всем нам он Ага – начальник. А ты его кунак, друг навек, и мы должны тебя беречь, как его брата.

– А где он? Жив?

– Да, теперь уж он у себя на Ингуре, туда он тебя вел, в свои аулы, в свои леса, где у него дом. Вот только обвал вас разлучил... Тебя сбросило вниз, а они уцелели. Тебя перенесли на этот кош, а сами через перевал ушли. Ты лежал без памяти. Ага послал за мной в мой аул, на Баксан. Он наш начальник. Вот все, что я могу тебе сказать. Он приказал тебя беречь и доставить в Россию. Еще предупреждаю тебя, что не показывайся в тех местах, где тебя видели с ним. Теперь его ищут, а если бы поймали – казнили бы. Мне он говорил, что ты тоже от начальства русского прячешь-

ся. Вот поэтому он и велел тебя беречь. Я тебя сведу в степь к моим кунакам молоканам на хутор – там ты будешь в безопасности.

Я слушал как зачарованный.

– Меня зовут Самат.

* * *

Когда мы пообедали чихиртмой из дикой индейки, которую раздобыл пастушонок, и остались вдвоем в сакле, Самат вынул из кармана кожаный мешочек с ремнем и отдал мне:

– Здесь десять золотых и сто рублей бумажками – это тебе Ага на дорогу и на платье. Придется переодеться, может быть. Завтра я тебя выведу. Вот и все.

Я не знал даже, что ответить. Первое, что вышло:

– Милый доктор! И вы и Ага чудные люди, но какие разные! Он все молчит, слова не скажет, вы разговорчивый.

– Во-первых, это потому, что я доктор, долго жил с русскими. Ага же лицо очень важное, и ему приходится молчать и по своему положению, и чтобы не сказать чего не надо. Больше я о нем не скажу ни слова.

Через три дня я был на коше у молочан, где Самат оказался своим человеком, и меня приняли как родного. Винтовку и почти сотню патронов я подарил старому молочанину – и радость его была безмерна: у них была одна гладкостволка, связанная проволокой. Самат, расцеловавшись со мной по-русски, исчез навсегда. На мои излияния чувств за спасение жизни и за все сделанное мне он ответил одним словом, уже на дороге, крепко пожав руку:

– Ага – твой кунак!

* * *

Между Большими Балканами с севера и Малыми с юга, защищенная от ветров, на десятки километров вдоль и километров на семь в поперечнике тянется знаменитая болгарская Долина роз, сплошь покрытая розовыми полями. В них вкраплены фруктовые сады, и весной эта единственная в мире долина удивляет глаз непрерывной розовой пеленой под самым горным хребтом Больших Балкан.

Холодным ветрам доступа нет. Теплый, нежный сквознячок вдоль долины, напоен-

ный ароматом роз, обвеивает небольшой городок Казанлык, весь пропитанный розовым маслом. Главный промысел жителей – добыча розового масла, а богатство города – торговля им. Почти рядом с городком, вся в розах и садах, – большая деревня Шипка, а от нее поднимается дорога на Орлиное Гнездо, высшую точку Шипкинского перевала. Это и есть именно та самая Шипка, изображенная художником Верещагиным, – три солдата, занесенные снегом, и надпись: «На Шипке все спокойно».

В сентябре 1902 года Болгария праздновала двадцатипятилетний юбилей Шипки, на который были приглашены русские гости, участники шипкинских боев. Праздник прошел блестяще. Маневрами были повторены все главные сражения, точь-в-точь, как они были тогда.

Празднества закончились парадом на Шейновском поле. Тысяча народу кругом. Доисторические курганы, тянущиеся линией между Большими и Малыми Балканами по знаменитой Долине роз и Шейновскому полю, представляли собой огромные букеты

цветов. Жаркий солнечный день – все в цветных шляпках и платьях, дамы с букетами цветов и пестрыми зонтиками, военные гости в белых фуражках.

Я ходил и щелкал моим большим «Кодаком», увековечивая эту интересную картину и типы. Снял одного старого отставного фельдфебеля в мундире того времени.

– Ну что, – спросил я его, – переживаешь приятные воспоминания?

– Всяко бывало... А вот в этом городишке, – указывает на Казанлык, – после боя наш батальон ночевал. Когда мы встали на другой день, так солдаты натащили кувшины с розовым маслом и давай сапоги мазать...

В стороне от кургана одиноко стоял могучий и бодрый высокий старик. Его седая густая борода серебрилась на солнце и, расчесанная волосок к волоску, лежала на широких лацканах английского пальто. Что-то близко знакомое сверкнуло мне в этой стройной, энергичной фигуре и в его глубоких темных глазах, ласково взглянувших из-под седых бровей. Он поднял руку и, сделав отрицательный жест, сказал довольно чисто по-рус-

ски;

– Меня не надо, пожалуйста, не надо!

– Хорошо, не буду, если не хотите.

– Да, я не люблю этого. Никогда моего портрета не было и не будет.

Я убрал аппарат, и мы пошли к другому кургану. Я заинтересовался, почему он так хорошо говорит по-русски, и узнал, что он долго жил на русской границе. Мы разговорились о многом, и он мне рассказал следующее:

– Двадцать пять лет я не был здесь и опять уеду отсюда. Так, приезжал посмотреть на знакомые места. С вами первым разговорился и больше ни с кем говорить не буду. Тогда я был в войске Сулеймана-паши, и вот здесь, – он указал себе под ноги, – здесь, на этом самом месте, я ел землю.

И он мне весьма поэтично нарисовал картину удивительную!

Сулейман-паша во что бы то ни стало хотел взять Шипкинский проход и завладеть отвесными скалами Орлиного Гнезда. Это было подвигом невозможным! Тогда упорный Сулейман вызвал три тысячи охотников для этой цели и «заклял» их.

Это было ночью. Три тысячи, и в числе их мой собеседник, стояли вокруг кургана.

Сулейман, весь в белом, встал на самом верху кургана, совершал богослужение и заклинал их.

Картина восхитительная: ночь, тишина, вдали огоньки бивачных костров, а на вершине кургана, перед упавшими ниц героями, белая фигура с воздетыми к небу руками произносит страшные заклинания.

И взял он с охотников клятву, что ни один из них не останется в живых, если не будет на вершине Орлиного Гнезда, а кто не будет там да уцелеет, тот будет проклят.

И поклялись все охотники умереть или достигнуть недоступной вершины каменного Орлиного Гнезда – и ели землю...

И пошли они на другой день на штурм, и осталось от трех тысяч около сотни...

– И вы были на штурме? – спросил я старика.

– Я ел землю, я был на самом верху, на гребне Орлиного Гнезда, и был сброшен оттуда... И как счастливо упал! Я был уже на вершине Орлиного Гнезда, когда у защищавших-

ся не было патронов, не хватало даже камней. На самом гребне скалы меня столкнули трупом. Я, падая, ухватился за него, и мы вместе полетели в стремнину. Ночью я пришел в себя, вылез из-под трупа и ушел к морю...

Мы сделали еще несколько шагов молча. Старик взял палку под мышку и стал перебирать четки, будто желая показать мне большой палец и серебряное кольцо с золотыми насечками.

Я поднял на него голову – глаза смеются. Он смотрит в сторону.

– Милый кунак, вы?! – обрадовался я.

– Кунак – нет «вы». Я тебя узнал и ждал, узнаешь ли ты меня. Если бы ты не узнал, так бы и расстались...

Мы целый час ходили между отдаленными курганами, а вдали маршировали войска, играла музыка.

– Я себя не узнал в этом костюме. Я в Стамбуле купил такое пальто: не хотел ехать в своем, чтобы не обращать внимания.

Много говорили о прошлом. Я рассказал ему о докторе Самате.

– Самат приходил ко мне на Ингур. Он ска-

зал, что ты доставлен в безопасное место. Самат проводил нас до Трапезунда, потому что среди переселенцев были больные.

Оказывается, что Ага еще задолго до меня занимался переселением своих черкесов с Кавказа в Турцию, его выследили, и тогда мы пробирались к нему на Ингур, чтобы скрыться в его делях, и попали в обвал. Я узнал только теперь от него, что он с Саматом отправил целый аул, а сам уехал в Стамбул на войну. Через несколько лет он поехал на Кавказ, но те аулы, откуда он увел своих в Турцию, все еще стояли в развалинах.

Мы расстались уже на закате солнца. Он пошел в деревню Шипку, чтобы рано утром выехать в Бургос, а оттуда домой, в Стамбул, – он дал мне свой константинопольский адрес, – где Абадз-бей командует отрядом черкесов, а я отправился на другую сторону Шейновского поля, в свою палатку, в лагерь, разбитый для русских гостей.

Над Балканами голубовато лучилась яркая звезда на синем небе... Она мне всегда напоминает мою молодость.

Палатку мы занимали двое – я и художник

А. П. Сафонов, родной брат художницы С. П. Кувшинниковой, которую описал Чехов. Его еще не было.

Я лежал в палатке один на кровати и смотрел в неспущенные полы моей палатки. На черном фоне Балкан внизу мелькали огоньки деревни Шипки и над ней, как венец горного массива, заоблачное Орлиное Гнездо, а над ним на синем звездном небе переливается голубым мерцанием та самая звезда, которую я видел после горной катастрофы...

Кольцо на большом пальце, четки, серебряная борода.

А передо мной Большие Балканы. Я уже их проехал верхом, и какими игрушечными кажутся мне они сравнительно с ледниковыми вершинами Эльбруса, Каштан-тау, Дых-тау. Живо передо мной встает ночной обвал.

Четверть века назад, когда седой Ага носил еще черную бороду, случилось это. С той поры я ни разу не представлял себе подробностей катастрофы. Помню только чудную, фантастическую картину ночи, а потом куда-то меня метнули, и я ухнул вниз... А седой Ага все так и стоит перед моими глазами. Беру

тетрадку, карандаш, пробую пережить тот ужасный миг, но вот никак он мне не кажется ужасным, да не казался и тогда, когда я пришел в себя и лечился в полусакле-полупещере у пастухов. В том-то и дело, что понятия «ужас» я тогда, должно быть, не знал. Да оно и понятно – столько было всего пережито и все так счастливо сходило с рук, что я ровно ничего не боялся, а если пораздумать, то такая внезапная смерть, мментальная и в красивой обстановке, куда лучше виселицы или расстрела на заднем дворе, а перед этим еще тюрьма. А терять мне было нечего – и всегда я был уверен, что цел буду.

Так и дальше, в будущем. Или в опасности, например в горячей перестрелке, когда кругом валялись люди, я думал (если только думал!), что не всех перебьют, хоть один да останется! Именно я останусь!

Держу тетрадку, карандаш. Вызываю в памяти красивые картины сверкающих ледников с причудливыми формами... Потом все рушится. Качается, падает... летит... кружится. И нет слов. Не удержишь на бумаге то, что едва мелькает в памяти... Вдали огоньки в де-

ревне. Орлиное Гнездо на синем небе. Но как это бедно сравнительно с красотой этих ледяных замков, колоннад и двух снежных вершин, врезающихся в такое же звездное небо! Слишком спокойные картины передо мной. Тихо мерцают звезды... Полный, самый эпический покой. Я лежу на кровати.

– ...Я лежал на скале Эльбруса... – Вдруг совершенно неожиданно выливается строчка почему-то стихов. Я не думал... Как-то смаху, без остановки и без поправки вытекло у меня это стихотворение. Оно, верно, отвечало картинам. Но эпически холодным. Я бросил тетрадку.

В это время вошел А.Ф. Сафонов.

– Ты что без огня лежишь?

И зажег свечку.

– Я сейчас из Казанлыка... у знакомых был. Вот получил подарки. – И выставил на стол четыре витиеватых, довольно грубой работы, но позолоченных флакона. – Два мне, два тебе. Ну-ка, капни в свою табакерку... По десять рублей флакон.

В палатке разлился аромат розы. Я забыл стихи, забыл незабвенную фигуру Аги, а

встал передо мной давешний фельдфебель и за ним целый батальон солдат, старательно мажущий сапоги розовым маслом.

Над Орлиным Гнездом ярче всех переливалась голубым мерцанием восходящая звезда.

* * *

– Пароход бежит по Волге. Через забор глядит верблюд, – импровизирует на корме парохода высоким дискантом под немудрую гармошку молодой малый в поддевке и картузике, расположась на круге каната, а я сижу рядом, на другом круге, и, слушая его, убеждаюсь, что он поет с натуры: что видит, то и поет.

Наш товаро-пассажирский пароход тихо и лениво тянется вверх почти у самого песчаного берега. На неоглядном горизонте выгоревшей степи живой только один сюжет, вдохновивший импровизатора-гармониста. У самого берега одиноко стоит какая-то сараюшка, а из-за дощатой загородки высится шея верблюда. Он жует и лениво поворачивает голову по мере движения парохода. Может быть, слушает шлепанье колес или гармошку. Он не знает, что менестрель в поддевке, пропах-

шей рыбой, как и все мы, палубные пассажиры, проспавшие между кулями сухой воблы, вдохновленный верблюдом, поет про него, а другой пассажир, в такой же поддевке, только новенькой и подпоясанной кавказским поясом, через пятьдесят лет будет писать тоже о нем и его певце. Ведь на самом деле талантливый импровизатор – в двух строках обрисовано все, а главное, место уж очень точно обозначено: пароход «бежит» по Волге, и видно, что он «бежит» по низовой Волге, потому что уж выше Симбирска верблюда на Волге не увидишь.

Когда я спустя некоторое время, будучи уже на сцене в Саратове, за ужином после спектакля рассказал товарищам-актерам об этом импровизаторе и припомнил куплет о верблюде, все посмеялись и перешли на другие анекдоты. Только Далматов переспросил меня:

– Так вы говорите: через забор смотрит верблюд?

– Нет, «через забор глядит верблюд».

Далматов вынул из бокового кармана щегольской визитки сафьянную, тисненную зо-

лотом записную книжку, вынул из нее карандаш с ручкой слоновой кости и что-то записал. Но на это тогда никто не обратил внимания.

В Саратов я попал скоро после этой встречи с импровизатором, очень скоро – прямо с этого «дружининского» парохода, так что еще запах воблы от поддевки долго ощущал. А на пароход этот я попал в Царицыне, куда благополучно прибыл прямо из зеленчукских степей, из-под шатров снеговых вершин на далеком горизонте, и попал первым делом в Ростов, где облагообразился у парикмахера, купил прекрасные сапоги, тонкого сукна поддевку, сшитую, как тогда было модно, по-донскому, на манер чекменя. В Царицыне, увидав с великой радостью Волгу, вспомнил свою жизнь бурлацкую и в память Нюхаря Костыги, моего лямочного друга, купил берестяную с фольгой вятскую тавлинку, четверку костромского нюхательного табаку мятного – он летом хорош, мята в носу холодит, – понюхал и ожил!

Давным-давно я не нюхал, а последний год и табаку-то нюхательного в глаза не видал,

забыл, что он существует. Зато обрадовался первой понюшке. Нюхаю и пою.

«Пароход бежит по Волге». Еду «вверх по матушке, по Волге», а куда – сам не знаю. Разные мысли есть, но все вразброд, остановиться не на чем. Порадовал из Ростова отца письмом, после очень, очень долгого молчания, и обещал приехать. Значит, путь открыт, а все-таки как-то не хочется еще пока... Если не приеду, отец скажет только: «Не перебесился еще!»

И он совершенно прав: не перебесился еще.

Сядясь в Царицыне, я билет почему-то взял до Саратова. Оказалось, что именно так и надо было взять.

Спускаюсь с палубы вниз, в буфет, и окончательно убеждаюсь в этом, увидав на стене висящую афишу, где преогромными буквами было напечатано «Идиот». Подхожу ближе и читаю: «Идиот», и далее: «Тайны Гайдельбергского замка», драма в пяти действиях, перевод с немецкого». Оказывается, в Саратове в летнем театре Сервье играет труппа драматических артистов под управлением А. И. По-

гонина. Режиссер – Н. С. Песоцкий. Еще несколько знакомых фамилий – известный комик Большаков Аркаша и полуграмотный дубинообразный красавец купецкого рода Григорий Розанов. Розанов была его фамилия по сцене, а настоящая его фамилия – Дубинин. На дверях его квартиры в Тамбове висела напечатанная крупно его визитная карточка: «Артист Гр. Дубинин-Розанов». Пускай, мол, кто не знает, подумает: артист – граф Дубинин-Розанов. А шутник Вася Григорьев взял и у нас на глазах исправил карточку. Вышло: «Артист граф Дубина-Роза». Так и осталось за ним Дубина-Роза, хотя он и заменил фамилию Розанов на Беляев. Он играл вторые роли «рубашечного» характера.

Со всеми ними я служил в 1875 году в Тамбовском театре у Г. П. Григорьева, где начал свою актерскую карьеру.

Прямо с парохода я отправился в театр Сервье на репетицию. Багажа у меня не было никакой, кроме скромно отделанного серебряными бляшками сыромятного пояса, ловко стягивавшего мою поддевку, так, как еще недавно стягивал в осиную талию мою

щегольскую черкеску. Пояс, подарок Аги, – это все, что уцелело от недавнего прошлого, если не считать нескольких золотых, которые я еще не успел растратить, будучи некоторое время в бродячем цирке.

Проходя мимо шляпного магазина, я зашел и купил чесучовый картуз военного образца, конечно без кокарды, и, довольный своим видом, остановился перед входом в сад, откуда доносились до меня звуки репетировавшего оркестра.

Улица, очень чистая и широкая, с садами, разделявшими между собой небольшие дома, была пуста. Только вдали виднелась знакомая фигура, в которой я сразу узнал Песоцкого. Прекрасный актер на роли холодных любовников, фатов, он и в жизни изящно одевался, носил небольшие усики, которые так шли к его матово-бледному, продолговатому лицу, которое или совсем не знало загара, или знало такие средства, с которыми загар не в силах был бороться, то есть перед которыми солнце пасовало.

– Николай Саввич! – остановил я его, когда он подошел к входу в сад.

– Ба! Какими судьбами? Рад вас видеть! После Тамбова мы ведь только в Кружке виделись. Что подельваете? Служите? – весело засыпал меня словами Песоцкий.

– Нет. Думаю, нельзя ли к вам.

– Ну вот и отлично. Кстати, у нас Никольский заболел. Вы вместо него сыграете Роллера...

Н. С. Песоцкий, взглянув на часы, взял меня под руку. Мы свернули с главной аллеи, в конце которой был виден театр, в глухую аллею.

– Да, Роллера. Вы кого тогда играли в Тамбове?

Мы сели на скамейку в густых зарослях жасмина.

– Прекрасно сыграете Роллера. Я еще его сокращу.

– Я помню пьесу и Роллера помню. Еще гимназистом читал «Разбойников».

– То, что вы читали, и то, что мы играем, – вещи совершенно разные. Мы играем Шиллера по-летнему. Ну, да все равно. Словом, вы служите и сегодня играете Роллера.

– Очень вам благодарен, Николай Саввич!

– Вам, конечно, деньжата нужны? – спрашивает он меня. – Много дать не могу, но на расходы...

– Не беспокойтесь о деньгах, – перебил я его. – У меня еще хватит...

– Откуда вы сейчас таким бронзовым?

– С Кавказа да из степей...

– Прелесть! На Роллера и грима лучшего не надо! Только не вздумайте сегодня бриться, а то в полумаске очутитесь! Завтра побрейтесь. Идем! Яковлев звонит!

* * *

– А вот вам и Роллер! – представил меня Песоцкий собравшейся на сцене труппе.

Оказались старые сослуживцы и знакомые по Московскому артистическому кружку – и я дома. Песоцкий взял тетрадку, возвращенную Никольским, и, указывая мне, вычеркнул всю сцену первого акта и значительно сократил сцену во втором акте, оставив только самую эффектную суть. Суфлер повторил вымарки в писаной пьесе и передал мне роль, которой осталось странички полторы только во втором акте. Ремарка такая: Роллер вбегает без шляпы, в одной рубахе, изорванной в клочья,

езде сквозит тело, на шее – веревочная петля.

* * *

После репетиции я обедал в саду в товарищеском кругу и тут же нашел себе квартиру у двух актеров, Сименова и Карина, снимавших маленький дачный домик.

Суфлер дал мне пьесу, написанную четким, прекрасным почерком и перекрещенную карандашом всех цветов и вдобавок украшенную чернильными надписями и между строк и на полях разными почерками. На заглавном листе: «Разбойники». Трагедия Шиллера. В пяти действиях и двенадцати картинах». Имени переводчика не было. Вообще тогда, не раз участвуя в спектаклях в разных провинциальных театрах, я никогда не видел, чтобы играли по печатному экземпляру, и писанные – думаю, что с одного оригинала, именно такого же, какой я видел у Песоцкого, – были во всех театрах. Притом каждый Франц и каждый Карл имел свой экземпляр – и нередко со своими сокращениями и вставками, нередко с отсебятиной. Но все виденные мною экземпляры были сценичны и

весьма умело сокращены. Даже экземпляр, сокращенный «по-летнему», потому что летняя публика любит покороче, был весьма ловко сделан. Впоследствии, сравнивая такой экземпляр с переводами Сандунова, Кетчера и Достоевского, я находил в нем сцены совершенно для меня новые. Может быть, взятые с французского перевода «Разбойников» Шиллера или, скорее, переделки, переведенные потом по-русски Ивановым. Но что это делалось сценично, отрицать нельзя: масса выигрышных мест. Я на себе испытал это в Роллере. Песоцкий так умело сократил роль и дал мне несколько таких указаний, что я неожиданно имел крупный успех.

* * *

В первом акте я выходил Роллером без слов, одетый в черный плащ и шляпу. Одевался я в уборной Н. С. Песоцкого, который свою любимую роль Карла уступил молодому актеру Далматову. Песоцкий зашел ко мне, когда я, надев чулки и черные трусики, туго перехватив их широким поясом, обулся в легкие башмаки вместо тяжелых высоких сапог и почувствовал себя вновь джигитом и лег-

ким горцем и встал перед зеркалом.

– Какая красота! Вот такой и был Роллер! – услышал я слова Песоцкого. – Знаете что: никакой рубашки, никакого верхнего платья! Только одна петля на шее. Какая красота! Откуда вы весь бронзовый? Какие мышцы!

– В степях загорел! Да в цирке немного поработал!

– Скоро выход, я иду в партер вас смотреть.

Перед самым выходом на сцену я прошел в дальнюю, глухую аллею сада, пробежался, сделал пяток сальто-мортале и, вернувшись, встал между кулисами, запыхавшись, с разгоревшимися глазами. Оглянул сцену, изображавшую разбойничий стан в лесу. Против меня, поправее суфлерской будки, атаман Карл с главарями, остальные разбойники – группами. Пятеро посредине сцены, между мной и Карлом, сидят около костра.

Сценарист Яковлев сверкнул на меня очками и предупредительно поднял руку, но я сам слушаю знакомые реплики, и в тот момент, когда Яковлев опустил руку, я рванул на сцену, будто продолжаю дальний бег, перепрыгиваю группу около костра и еще через

два прыжка останавливаюсь перед атаманом, высоко подняв руку, с веревочной петлей на шее, и отчеканиваю на высокой ноте:

– Я сорвался с виселицы!

Разбойники при моем появлении вскочили и остолбенели. Пауза удивления. Далматов смотрит на меня восторженными глазами.

– Да, я сорвался с виселицы, прямо с виселицы, говорю вам! Дайте водки. (Подают флягу.) А-ах! С меня уже сорвали рубаху, накинули эту петлю. (Опять пью.)

Публика аплодирует.

* * *

Дебют был удачен. На другой день шла «Свадьба Кречинского». Я играл купца Щебнева и удостоился вызова. Вчера я выходил вместе с Далматовым под фамилией Никольского, а сегодня Погодин, не спросив меня, поставил мою настоящую фамилию, чему я, в конце концов, был рад. Мне стали давать роли, отношение товарищей прекрасное. Завелись приятные знакомства.

Сборы все время хорошие, несмотря на то, что все были увлечены войной и волновались, когда получались нерадостные изве-

ствия. В один из призывов ополченцев я зашел случайно в Думу, где был прием, и заявил – даже совсем неожиданно для себя – о желании идти охотником, почти так же, как моему кунаку Аге на его призыв ехать с ним «туда-сюда гулять» я ответил: «Едем».

Я телеграфировал отцу, что иду на войну; он мне выслал метрическое свидетельство, и с первым же эшелоном я отправился в действующую армию, на Кавказ.

По окончании войны начальство предложило мне продолжать службу, но в это время у меня в кармане лежало письмо от Далматова, приглашавшего меня ехать к нему в Пензу, в театр.

* * *

В Пензе я играл под псевдонимом Сологуба, был помощником режиссера и много работал вместе с Далматовым, который только что разошелся со своей третьей или, может быть, пятой женой и весь предался театру.

Между прочим, мы привели в порядок большую театральную библиотеку, на что уходило почти все свободное время. Впрочем, это не мешало нам написать вместе одну

фривольную пьесу, а иногда кутнуть и гульнуть вовсю – вроде прогулки верхом на бочке отходников на одной из людных улиц Пензы, причем Далматов был в цилиндре и золотом пенсне. Это было на первой неделе поста, когда актеры уже уехали в Москву заключать контракты на следующий сезон, кроме тех, которые остались служить у Далматова на будущую зиму. Далматов никогда не ездил постом в Москву – он получал столько предложений, что мог всегда составить прекрасную труппу, сидя на месте.

Я, конечно, будучи его секретарем, помогал в этом наборе труппы и вел всю переписку. Он только важно, с шикарным росчерком подписывал: В. Лучич-Далматов.

Лучич была его настоящая фамилия. Он родом был далматинец, почему и взял такой псевдоним. Детство свое провел он в Кишиневе и Одессе и говорил, что один из его родственников занимал на юге какую-то важную должность и чуть ли не был другом Пушкина.

В. П. Далматов иногда рассказывал, как он в первые годы сценической деятельности голодал, ночевал на улице и ходил в поисках

места пешком из города в город.

Прекрасный актер, он был такой же антрепренер. К нему охотно все шли служить, и не было случая, чтобы Далматов когда-нибудь не заплатил в срок.

Во время сезона в Пензу то и дело приезжали, а то, может быть, вернее даже, приходили пешком разные Крокодиловы-Нильские, Таракановы-Вяземские, и каждому давались деньги добраться до Москвы. Обычно все они стремились в Москву. А если объявлялись бывшие сослуживцы, брал их Василий Пантелеймонович на службу в переполненную труппу. Авансами разоряли, а отказать никому не мог.

Театральные дела у него всегда шли прекрасно. Пенза тогда еще проедала остатки своих барских имений и меценатствовала. В бенефисы любимых актеров ложи бенуара блистали модными аристократками, а бельэтаж – форменными платьями и мундирами учащейся молодежи.

В этот сезон В. П. Далматов закончил свою пьесу «Труд и капитал», которая была, безусловно, запрещена и после уже, через

несколько лет, шла под каким-то другим названием. В этот же год он начал повесть и вывел в ней актера-бродягу, который написал «Катехизис актера».

В эту повесть и особенно в «Катехизис» Далматов влил себя, написав: «Уважай труды других, и тебя будут уважать»; «Будучи сытым, не проходи равнодушно мимо голодного»; «Не сокращай жизни ближнего твоего ненавистью, завистью, обидами и предательством»; «Облегчай путь начинающим работникам сцены, если они стоят того»; «Актер, получающий жалованье и недобросовестно относящийся к делу, – тунеядец и вор»; «Антрепренер, не уплативший жалованья, – грабитель».

Это органические черты Далматова: таким я знал его в Саратове, Пензе и Воронеже...

* * *

Мы собирались с В. П. Далматовым идти завтракать, когда сторож Григорьич ввел в кабинет И. К. Казанцева, известного актера и антрепренера. С Далматовым они расцеловались, как старые друзья. Казанцев проездом из Самары в Москву заехал в Пензу, чтобы

пригласить Далматова на летний сезон в Воронеж, где он снял театр.

В. П. Далматов отрекомендовал меня и предложил взять. В два слова кончили дело, и тут же пригласил И. К. Казанцев меня помощником режиссера.

Думалось, что меня он взял как привесок к В. П. Далматову, как кость или жилу, которую прибавляют как нагрузку к хорошему куску мяса.

– Ну, а теперь угостим дорогого гостя. Идите и заказывайте завтрак. Через десять минут буду, только Горсткину занесу деньги – сегодня срок аренды.

* * *

Яркий, солнечный день. Снег, тот самый весенний яркий снег, о котором говорят: «Молодой за старым пришел», слепил глаза. Реомюр на стене театра показывал семь градусов. Ноги скользили – лед здесь никогда не чистили с тротуаров, – и мы шли под руку ради взаимного страхования от падения. Налево сверкала алмазами белоснежная Соборная площадь, а по ней быстро шла наперерез нам, от церкви на Московскую улицу, стройная де-

вушка в коротенькой черной шубке с барашковым воротником, на котором лежала роскошная коса. Из-под коричневой юбки сверкали серые ботики, а из-под каракулевой шапочки весело взглянули большие серые глаза на подбежавшую к ней с лаской собаку. Прекрасный цвет лица, легкие, энергичные движения обратили внимание Казанцева. Он толкнул меня локтем и сказал:

– Славная барышня... Таких только степь родит. Сила и радость! Вся розовая...

Я взглянул еще раз на нее, уже переходившую Московскую улицу, потом на Соборную площадь и ничего не ответил. Казанцев на миг мне показался Мещерским, Соборная площадь – Театральной...

* * *

Служу в Воронеже. Прекрасный летний театр, прекрасная труппа. Особый успех имеют Далматов и инженерю М. И. Свободина-Барышова. Она, разойдясь со своим мужем, известным актером Свободиним-Козиенко, сошлась с Далматовым. Это была чудесная пара, на которую можно любоваться. С этого сезона они прожили неразлучно несколько лет. Их осо-

бенно принимала избалованная воронежская публика, а сборов все-таки не было.

Чтоб заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей-гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера – Воронков и Матковский, по несколько лет один за другим державшие здесь театр. Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы, и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер.

Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила «Гамлета», сама его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину-Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем.

Второй случай, давший огромный сбор, был в бенефис никудышнего актера Тамары, афериста и пройдохи, в свой бенефис имевшего наглость выступить тоже в роли Гамлета.

Надо сказать, что в эти годы огромным успехом пользовалась в провинции прекрасная опереточная актриса Ц. А. Райчева, гастролировавшая в Воронеже в «Птичках певчих» и «Елене Прекрасной».

В этот сезон она служила в Ростове-на-Дону, и об ее успехах писали обе воронежские газеты – «Телеграф» и «Дон», которые вообще отводили много места театру, перепечатывая известия из газет, благо материал вполне цензурный, весьма читабельный, а главное – бесплатный.

Выходит огромная афиша о бенефисе артиста Тамары: «Гамлет принц Датский. Трагедия Шекспира. В заглавной роли – бенефициант. При участии знаменитой артистки Цецилии Арнольдовны Райчевой, которая исполнит „Письмо Периколы“...

Об участии Райчевой напечатано красными буквами.

В списке исполнителей ролей ее нет. Офелия – Бороздина, королева – Микульская. «При чем Райчева?» – недоумевала публика. А бенефициант во фраке, на лучшем извозчике, носится по домам меценатов, «делает визи-

ты» по лучшим магазинам, трактирам, клубам и всучивает билеты, отвечая на все вопросы только одним:

– Приходите, увидите. Если не будет Райчевой – деньги обратно.

В день бенефиса Тамара едет утром на вокзал, встречает Райчеву, везет ее в лучшую гостиницу по людным улицам. Артистку узнают, видят, говорят о ней, и около театральной кассы толпится народ. К вечеру – аншлаг. При первом выходе бенефицианта встречают аплодисментами и полным молчанием после каждого акта и лучших монологов Гамлета. Тепло встретили Офелию, красавицу С. Г. Бороздину, дочь известного артиста Г. И. Григорьева. Она только одна пока удостоилась аплодисментов и бисировала песнь Офелии.

Идут в молчании акт за актом. Думали сперва, что или Офелию, или королеву будет играть Райчева, но и в королеве появилась Микульская. Где же Райчева? Стали заглядывать во время антрактов в кассу: как бы кассир не сбежал, но нет, он продает билеты на будущие спектакли. Большинство уже уверено, что смотрят спектакль даром: деньги об-

ратно собираются требовать.

Пятый акт. Публика еще в антракте заняла места. Могильщики, старик и молодой парень, копают могилу. Приходят Гамлет и Горацио. Сцена с черепом Иорика. Наконец, хоронят Офелию. Все расходятся. Могильщики начинают закапывать могилу.

– До ночи не закопаешь! Оголодал, есть хочется. Внучка надула, обещала обед принести.

– Хорошо бы поесть... Э! Да вот и она с горки спускается. Слышь, поет?

Через минуту появляется Райчева в блестящем костюме Периколы с большой корзиной, покрытой салфеткой.

– Дедушка, вот я обед принесла!

– Ну, спасибо, внучка... Ставь сюда.

Публика бешено аплодирует.

– Bravo! Райчева! Райчева!

Она открыла корзину и разложила еду.

– Кушайте!

Публика замерла. Ждет.

– Ну, внучка, мы будем есть, а ты нас потешь, спой что-нибудь веселенькое.

– Что бы вам спеть?

– А что обещала.

В оркестре – звуки арии из оперетты. Райчева выходит на авансцену и поет «Письмо Периколы».

Публика требует повторения. После второго раза Райчева уходит за кулисы. На вызовы публики ее выводил на сцену сам Гамлет...

К такой публике и приехала наша труппа. Серьезного репертуара и хороших постановок мало было: надо гастролеров из столицы!

И. С. Казанцев ездил в Москву и привез известие, что через три дня приедут Ермолова и Правдин. В местных газетах появились заметки о гастролях.

Накануне во время спектакля было заявлено, что в десять утра приедут, а в одиннадцать репетиция, и предложено было желающим встретить Ермолову. Правдина почти никто не знал.

В первую голову, как помощнику режиссера, мне, конечно, надо было по обязанности, и уж как я стремился увидеть ее – ночью не спалось. Заснул при солнце, но был разбужен в семь часов.

– Пожар! Ваши уж проехали к реке!

В Воронеже этим летом образовалась воль-

ная пожарная дружина, куда я тотчас по приезде записался топорником, не отказываясь работать и в городской команде.

На окраине горели два деревянных дома. Кругом близко стройка. Пожар опасный. Ветер сильный. Все-таки опасность миновала, и когда я посмотрел на часы – половина одиннадцатого, значит, только на вокзал опоздал – встречу на сцене. Примчался на извозчике, вбежал в заднюю дверь, выходящую в сад, прямо на сцену, чтобы почиститься и умыться до начала репетиции, и – о, ужас! – на сцене народ. Первое, что я увидел среди кучки артистов, – это суфлера Модестова, задом влезавшего в будку, а около будки стоят Свободина, Далматов, Казанцев и еще кое-кто из артистов. Посредине их небольшой человечек в полосатой синей паре и панаме, а рядом Ермолова, свежая и розовая от легкого загара, в сером дорожном платье и легкой, простой соломенной кругленькой шляпе с черной лентой. Они разговаривали со Свободиной, которая была немного выше ее. Я сразу вспомнил и Артистический кружок, и Театральную площадь, и Мещерского – и совсем забыл, что я

даже не умылся.

Я двинулся к группе, чтобы извиниться за опоздание. Потом узнал, что прямо с вокзала они поехали на репетицию, а вещи отослали в гостиницу.

Все это я пережил в момент, и при первых моих шагах раздался хохот и возгласы, где слышалось слово «пожарный». Все-таки я подошел, сорвал с головы фуражку, извинился за опоздание. Смех в ответ на мой поклон, а потом Казанцев обратился ко мне со словами из «Птичек певчих»:

– Панателла, подите и умойте вашу физиономию, а потом я вас познакомлю с Марией Николаевной и Осипом Андреевичем.

А Свободина подставляет мне к лицу зеркальце:

– Посмотритесь!

Взглянул – весь в саже. Бросился как безумный назад, перепрыгнул через забор в сад моей квартиры и через десять минут извинялся с трепетом сердца перед М. П. Ермоловой.

Она меня встретила прекрасно. Оказалось, что Далматов ей еще на вокзале рассказал обо мне и заинтересовал ее.

Когда группа актеров окружила на платформе М. Н. Ермолову, пока пассажиры торопились в буфет пить кофе (тогда еще вагонов-ресторанов не было), а аккуратный Осип Андреевич Правдин побежал наблюдать за выгрузкой багажа, к В. П. Далматову подошел небольшого роста офицер.

На белом кителе его выделялся красный темляк на кавказской шашке – «за храбрость».

– Мы немного знакомы. Тоже на вокзале. Помните, вы провожали с моим эшелоном на войну Гиляровского. Моя фамилия Прутников.

В. П. Далматов обрадовался, обнял его, представил товарищам и сказал:

– Гиляровский служит у нас, он сейчас должен приехать сюда. Поезд простоит долго. Да вы останьтесь у нас на денек-другой.

– Не могу, больную жену в Ессентуки везу.

Долго отвечал он на вопросы В. П. Далматова – все со вниманием слушали боевые воспоминания моего однополчанина.

Поезд ушел. Так мой друг меня и не видал, но его встреча с актерами сыграла свою роль:

М. Н. Ермолова, наверное, никакого внимания не обратила бы на маленького актера Со-
логуба, если бы не эти рассказы на вокзале.

* * *

Как-то после одной из первых репетиций устроился общий завтрак в саду, которым мы чествовали московских гостей и на котором присутствовал завсегда-тай театра, местный адвокат, не раз удачно выступавший в столичных судах, большой поклонник Малого театра и член Московского артистического кружка. Его речь имела за столом огромный успех. Он начал так:

*Высоко передо мною
Славный Киев над Днепром,
Днепр сверкает под горою
Переливным серебром.*

Это прекрасное стихотворение, в котором дальше поэт спрашивает:

*Вы откуда собралися,
Богомольцы, на поклон? —*

относится также к Воронежу, переполненному, особенно в летнее время, тысячами богомольцев, идущих от московских чудотвор-

цев к киевским мощам и встречно из Киева в Москву.

Воронеж никак миновать нельзя, и те и другие обязательно идут поставить свечечку и купить образок местного угодника Митрофания лишь потому, что Воронеж на пути стоит... Вы можете видеть этих пешком прошедших лапотников с пыльными котомками и стертыми посохами там, около монастыря, в таком же количестве, как и в Киеве. Но Воронеж богаче Киева, интереснее в другом отношении: потому что он стоит на перепутье, на линии железной дороги, соединяющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов. Наши знаменитые артисты в своих поездках никогда не минут перепутья... Кого-кого мы не видали из них... Служить в наш город благодаря удобству сообщения едут охотно со всех концов нашей необъятной шестой части света. Сейчас, в нашей скромной компании, можно продолжить стихотворение со строки «Вы откуда собралися», и каждый из вас скажет: да, я оттуда...

С поднятым бокалом оратор первым делом обратился к Н. Н. Синельникову, донскому ка-

заку:

*Я оттуда, где струится
Тихий Дон, краса степей, —*

и сразу повернулся лицом к сидящему с ним рядом Казанцеву:

*Я оттуда, где клубится
Беспредельный Енисей...*

Казанцев встал, чокнулся и вскользь, чтоб не прервать речи, бросает:

*– Иннокентием зовут, значит, си-
биряк.
Край мой теплый берег Эвксина...*

И не успел еще взглянуть на Далматова, как последний встал, и их бокалы встретились.

*Край мой берег тех дальних стран,
Где одна сплошная льдина
Оковала океан...*

Он что-то ищет, но его выручает Вязовский, указывая на меня:

– Сологуб оттуда.

Чтоб не помешать, я принял привет и ответил, показывая дно стакана:

Я от Камы многоводной...

И опять ищет глазами.

– В аккурат с нее! – отвечает Василий Вятский.

А барон Оберкас, сын сенатора, прекрасно игравший лакеев, ответил поклоном на строчку:

Я от царственной Невы.

И уже наверняка адвокат чокается с приставшим заранее Правдиным, приятелем оратора:

Я от Ладоги холодной...

Подняв голову и закинув седую гриву волос, красиво перегнувшись через стол, он обращается к Марии Николаевне:

Я от матушки Москвы!

И закончил стихотворение... Да если и не закончил, то продолжать было нельзя – аплодисменты, чоканье. Все встали и с бокалами спешат к раскрасневшейся Марии Николаевне.

* * *

Мария Николаевна дружила только с М. И. Свободиной, изредка в свободные вечера, по субботам, она бывала у нее. Иногда бывали и мы у нее. Я говорю «мы», то есть Свободина, Далматов и я. Редко заходил Казанцев, но, переговорив о театральных делах, исчезал, а Правдин жил где-то на окраине у знакомого немца, и его видели мы только на спектаклях и репетициях. Экономный немец, он избегал наших завтраков и ужинов.

На наших вечеринках вчетвером, наговорившись о театре, переходили на стихи, и я делался как-то центром беседы среди этих знаменитостей.

В. П. Далматов обыкновенно рассказывал что-нибудь обо мне из того немногого, что он знал, а потом и я разбалтывался, конечно, очень скромно, вечно памятуя лозунг моей жизни тогда: «Язык твой – враг твой, прежде ума твоего рыщет».

Марию Николаевну больше всего интересовала жизнь бурлаков и работа на белильном заводе, В. П. Далматова – картинки войны и приключения, М. И. Свободину...

Как-то Мария Николаевна попросила меня

прочитать мое стихотворение «Бурлаки». Потом сама прочитала после моих рассказов о войне некрасовское «Внимая ужасам войны», а М. И. Свободина прочла свое любимое стихотворение, которое всегда читала в дивертисментах – и чудно читала, – «Скажи мне, ты любил на родине своей?». И, положив свою руку на мою, пытливо посмотрела на меня своими прекрасными темно-кариыми глазами:

– Обращаю к вам вопросом первую строчку стихов: «Скажи мне, ты любил на родине своей?...» В самом деле, вы поэт, значит, любили?

– Какой я поэт! У меня только два стихотворения. Это да «Кузьма Орел» и несколько шуток.

– Ну есть же стихи о любви?

– Никогда этого слова я не написал.

– А вот когда напишете это слово кому-нибудь в стихах, тогда ваша поэзия начнется, настоящим поэтом будете!

– Но разве мало прекрасных стихов без объяснений в любви? А гражданские мотивы? Томас Гуд, Некрасов. О, сколько поэтов! Песни о труде, о поруганной личности, нако-

нец, бурные призывы, как у Лопе де Вега и у нашего московского поэта Пальмина, ни разу не упомянувшего слово «любовь» и давшего бессмертный «Реквием».

– Так-то так. А все-таки моему сердцу ближе эти строки. – И опять обратилась ко мне: – «Скажи мне, ты любил на родине своей?...»

– Нет, не любил нигде. Пробовал, да не вышло. Перед войной познакомился в Саратове с одной маленькой актрисой Гаевской. Как рыцарь средних веков, сделал ее дамой сердца, переписывались с ней с войны. В дни, когда получалась в отрядной канцелярии почта, бегал за письмами для близости расстояния чуть ли не через цепь турецкую, обрываясь в колючках и рискуя попасть под пулю. Кстати, она служила здесь, в Воронеже, у Матковского. Кончилась война. Я поехал домой морем на Таганрог и далее. С нетерпением ждал Воронежа. С вокзала бегу на репетицию в театр. Ее вызывают мне. Выходит знакомая худенькая фигурка. Конфузливо подходит. Посмотрели мы друг на друга, разговор как-то не клеился. Нас выручил окрик со сцены, позвавший ее. Пожал я ей руку – не поцеловал, нет,

да я вообще никогда еще, кроме матери, ни у кого руки не целовал – и уехал. Это было в прошлом году здесь. И переписка прекратилась.

М. И. Свободина в это время взяла мою записную книжку, которая лежала на столе передо мной, и что-то стала писать.

– Вот вам на память!

«Не понят ты людьми в халате драном. Поймут тебя они в кафтане златотканом».

И подпись – Мария Свободина.

Я прочел и пододвинул книжку Марии Николаевне. Она тоже взяла карандаш, и я прочел:

*Вперед без страха и сомненья
На подвиг доблестный...*

В тот же вечер Мария Николаевна дала мне свою фотографию с надписью: «Владимиру Гиляровскому – Мария Ермолова. Воронеж».

Книжка, вся истрепанная, полуразорванная, у меня еще цела с дорогими автографами, а карточку в девяностых годах взяла одна студентка и не отдала. Студентка эта давно

уже доктор и служит в одной из детских больниц. Наверное, карточку хранит как зеницу ока. И на этом спасибо.

Мария Николаевна надписала карточку Гиляровскому, а не Сологубу, как меня знали все и как я писался в афишах. Она никогда не называла меня ни той, ни другой фамилией, а всегда Владимир Алексеевич. Для меня Мария Николаевна была недостижимым светилом, мой кумир, каким она была для всей публики, а особенно для учащейся молодежи.

М. И. Свободина была любящей и любимой женой моего друга Далматова. Ни на один миг ни та, ни другая не внушали мне и мысли, что они красавицы женщины. Ни у той, ни у другой я не поцеловал руки. В то время я еще не поцеловал ни одной женщины и вообще ненавидел целоваться, что принято между актерами, а особенно пьяными. Когда кто-нибудь обнимал меня и лез целоваться, я обязательно подсовывал к его губам руку, которую он целовал, потом ругался, а тронуть меня, конечно, боялся. Так я и отучил моих друзей от поцелуев. Бледный призрак Гаевской – как впоследствии я узнал, что, когда я заезжал к

ней в Воронеж, она была невестой – растаял, как растаял «второй я» над пропастью ледника. Профиль «восходящей звезды» погас, так как сама звезда была передо мной во всей своей славе... Дразнила воображение фигура девушки-степнячки в гимназической форме, сменившая Театральную снеговую и солнечную площадь на такую же Соборную в Пензе. Но все это мимолетно и неясно мелькало иногда...

* * *

*Не понят ты людьми в халате
драном.
Поймут они тебя в кафтане златотканом.*

Эти строки заставили меня задуматься, и я уже ясно понимал их неопровержимость, когда видел моих знаменитых собеседников, с напряженным вниманием слушающих меня.

– Вас не удовлетворит сцена – вы будете писателем. Столько видеть и не писать нельзя, – как-то после моих рассказов сказала мне Мария Николаевна.

Впоследствии я не раз задумывался над

этими словами, а передо мной сверкали зарницы гроз далеких.

«Вы поэт и будете поэтом, когда у вас напишется то слово. Помните Майкова: „Скажи мне, ты любил на родине своей?“ – повторяла М.И. Свободина.

Ободряюще светила строчка: «Вперед без страха и сомненья на подвиг доблестный». Но в суете актерской и веселой жизни проходило и забывалось. Я жил данным моментом: театром в Воронеже.

Как-то около полудня я возвращался с небольшого пожара на окраине, шел глухой улочкой, окруженной небольшими домиками, и увидел на скамеечке перед воротами пожилую женщину, перед которой стояли две богомолки в лаптях и сумками за плечами. Рядом с ней сидела М. И. Свободина, которая меня окликнула и познакомила с сидевшей рядом.

– Анфиса Егоровна, подруга моей мамы.

– Очень рада... Я вас видела у Марии Николаевны. Да что здесь жариться, заходите, пожалуйста, в хатку, чай на столе.

Я было из вежливости, конечно, против

своего желанья, стал отказываться, а М.И. Свободина взяла меня под руку и повела.

В маленьком зальце с голубыми обоями и простеночным зеркалом стояли три круглые подушки для плетения кружев. За двумя сидели две хорошенькие блондинки, тоже в голубых, как и обои, ситцевых платьицах, и погремливали чуть слышно коклюшками, выводя узоры кружева.

– А вот мои крестницы Маня и Оля, племянницы Анфисы Егоровны, а вот и мама их, Анна Егоровна.

Та поставила самовар и мигнула дочкам. Они исчезли и через минуту внесли два блюда с пирогами, оба круглые, в решетку. Один с рисом и цыплятами, а другой с черешнями. Вслед за сестрицами вошла Ермолова в светленьком простом платьице и в той самой шляпке, в которой играла учительницу в модной тогда пьесе Дьяченко «На пороге к делу».

Мария Николаевна удивленно посмотрела на меня, подавая мне руку. А Свободина сказала:

– Мы о нем много секретов знаем, пусть же и он знает наш секрет...

Выяснилось, что по воскресеньям обе они едят здесь пироги и беседуют с богомолками.

– Изучаем типы! – сказала М. И. Свободина, а М. Н. Ермолова добавила:

– Знакомимся с ужасами женской доли... Мне только здесь стал воочию понятен Некрасов и Писемский. Представьте себе, вот сейчас в садике сидит красавица женщина, целиком из «Горькой судьбины», муж из ревности убил у нее младенца и сам повесился в тюрьме... Вот она и размыкивает горе, третий год ходит по богомольям...

В садике пять богомолок пили чай с булками.

– Вот эта, – шепнула мне М. Н. Ермолова, указывая на действительно с красивыми чертами лица, исхудавшую и почерневшую от загара женщину.

Рядом с ней сидела крепко сложенная невысокая старуха со слезящимися глазами и темная, как закопченная икона. Она из Вологодской губернии, всю жизнь прожила в избе, которая топилась по-черному. Пошла раз в жизни отдохнуть от холода, голода и мужниных побоев в течение сорока лет. Пошла она

размыкать свое горе, поделиться им с товарищами-богомолками и грехи свои, которых и не было, рассказать исповеднику, услышать от него слово прощения. Этот тип со временем должен исчезнуть с изменившимися условиями жизни. Она – лучшая иллюстрация к Некрасову:

*Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.*

– Вы посмотрите, – не глядя на нее, говорила мне Мария Николаевна, изучившая ее до тонкости, – посмотрите на это красивое лицо, скорее цыганское, чем ярославское. Она из-под Ярославля. Эти две глубокие между бровями морщины неотвязной думы, эта безнадежность взгляда. Это не тоска, не грусть... Это трагедия... Это не лицо, а маска трагедии...

Если бы вы слышали, как она подробно рассказывала пережитые картины ужаса и свой грех, в котором она и виновата не была, но который ее мучил! Она чувствовала, что я понимаю ее, и выливалась передо мной все, что угнетало ее душу, все, что она не могла рассказать кому-нибудь дома, даже своему свя-

ценнику. И ни одной слезы, которая бы смыла этот ужас! Слезы смягчают и облегчают переживаемую боль, которая в ее взоре и лице. «И вот иду... Иду... За народом иду... У Троицы была. В Москве, в Киеве... Исповедаешься – полегчает... Богомолка есть горе горькое, свое горе передо мной выплачет, а я ей свое – опять полегчает... Ежели бы не пошла – руки на себя наложила бы. Жить не для кого... И вот иду... иду... За народом иду... Куда народ, туда и я...»

Так запомнила М. Н. Ермолова каждое слово богомолки.

М. Н. Ермолова и М. И. Свободина остались в садике, а я ушел домой. До сих пор жалею, что мне не удалось повидать «Горькую судьбину» в Малом театре!

* * *

Гастроли М. Н. Ермоловой в Воронеже прошли при полных сборах почти во всех ее спектаклях. О. А. Правдин, недурный актер, имел тоже успех. В его бенефис были приставные стулья. Спектакль был обставлен прекрасно. Шла драма Аверкиева «Каширская старина», Марица – Ермолова, Василий – Дал-

матов, любимец публики, и Живуля – Правдин. Но этот спектакль не гремел такими неудержно шумными оациями, как бенефис Ермоловой и некоторые спектакли с ее участием, которые, по выражению московского жандарма Слезкина, были «с душком». Это «Овечий источник» или некоторые современные пьесы В. А. Дьяченко, как, например, «На пороге к делу», «Виноватая». Надо заметить, что Дьяченко, известный драматург, жил в Воронеже, где сам ставил свои пьесы, всегда на современные жгучие темы, и был любимцем местной публики, и особенно молодежи, так как все его пьесы были именно «с душком». Он умер в 1876 году, то есть года за три до нашего сезона, но пьесы его в Воронеже шли.

Пьеса «На пороге к делу», которая шла с Ермоловой в Малом театре, сделала в первые дни приезда гастролеров огромный сбор и показала публику совершенно особую.

– «Ермоловская» публика, – сказал И.К. Казанцев, и сразу поняли, какие пьесы ставить для этой публики. А если приходилось давать что-нибудь вроде «Каширской старины», то

он вместо водевиля объявлял дивертисмент, где Ермолова читала стихи, те самые, которые в Москве стояли поперек горла жандармской власти.

Всегда такой дивертисмент привлекал «ермоловскую» публику. Тогда галерка, балкон и последние места партера были полны, и вызовы при громоподобных овациях были бесконечны.

В антрактах эта публика не осаждала буфет, а гуляла группами в глухих аллеях сада. Некоторые группы громко обсуждали игру артистов, спорили. Другие были не так шумны, но все же оживленны, держались свободно и вместе с тем скромно, даже серьезно. Зато гудели они в театре, после окончания спектакля вызывали по несколько раз своих любимцев, а главное – Ермолову.

Большую аллею и площадку с фонтаном перед театром, где была эстрада для музыкантов, заполняла щегольская публика лож и партера. Модные туалеты дам, визитки молодых франтов да чесучовые широкие пиджаки и дорогие панамы богатых помещиков, приезжавших на спектакли Ермоловой из своих

имений. А там, в дальних аллеях, – учащаяся молодежь, сельские учителя в широкополых шляпах, иногда черных, иногда местной работы из прочной соломы – брылях. Большинство в очках, иногда синих; многие в поддевах, красных рубахах и яловых сапогах. Среди учительниц и их приезжающих на лето столичных подруг были некоторые с короткими волосами, некоторые в очках, и все в маленьких простых соломенных шляпах, точь-в-точь в какой Мария Николаевна играла учительницу в пьесе В. А. Дьяченко...

Все эти люди, и молодежь и пожилые, бородатые и волосатые, были с чрезвычайно серьезными лицами, будто они пришли не в летний театр развлекаться и веселиться, как публика у фонтана, а явились, по крайней мере, в университет слушать любимого профессора.

Из всей труппы только у Казанцева были знакомые среди этой публики, они молчаливо и любезно раскланивались.

Семнадцатого июня 1879 г. в бенефис М. Н. Ермоловой шел «Сверчок». Весь Воронеж чествовал любимую актрису – и вся «ермолов-

ская» публика была налицо со своими двумя басами, не пропускавшими ни одного ее спектакля. При вызовах бенефициантки они гремели как никогда. Одни бас – хоть сейчас «Демона» пой, а другой – не слыханная ни до, ни после мною октавища... Он гудел будто откуда-то из-под земли, из склепа, из пропасти... Слышны были только: «Мо-оло-о-ва-а-а...» Треск аплодисментов и стук в пол палками, зонтами и ногами покрывали эти два чудовищных баса. Публика и мы, актеры, привыкли к ним и не интересовались ими. Слышали, что это два богослова-семинариста, будущие протодьяконы. Но на этот раз на них было обращено внимание одним человеком, и я заметил это со своего наблюдательного поста, из дырочки в правой кулисе, откуда я рассматривал при опущенном занавесе публику в зале.

В этот вечер в первый раз на угловом кресле я увидел местного жандармского полковника и рядом с ним полицмейстера. Обычно на этих казенных местах сидели разодетые дамы, жены, может быть, а мужья, как было слышно, – страстные картежники –

предпочитали клуб.

Театр неистово вызывал бенефициантку. Первый ряд встал возле оркестра и, подняв высоко руки перед занавесом, аплодировал. Только два человека в белых кителях, опершись задом в барьер оркестра, задрали головы кверху, поворачивая их то вправо, где гудел один бас, то влево, откуда, как из пропасти, бучало: «во... а... ва... а... а». Бучало и заливало все.

По-видимому, высокого, с английским пробором на затылке, жандармского полковника заинтересовали эти басы, а полицмейстер, у которого был тоже пробор от уха до уха, что-то отвечал на вопросы жандарма, потом качнул головой: «слушаю, мол», и начал проталкиваться на своих коротеньких ножках к выходу.

В это время подняли занавес, и вышла на вызовы Ермолова, и жандарм, сверкая бриллиантом на мизинце холеной руки, начал как-то наискось хлопать ладонь о ладонь, но «на челе его высоком не отразилось ничего».

М. Н. Ермолову вызывали, подносили подарки... букеты... венки... С галерки сыпались

пучки полевых цветов, а басы гудели.

В числе наших «карасей» – так в те годы повсюду актеры называли меценатов, ставивших актерам угощение, – был богатый человек, живший широко. Звали его Николай Николаевич, а фамилии его так и не знали. Я встретил его в Москве во время немецкой войны. Он обеднял и держал маленькую табачную лавочку с вывеской «Н. В. Васильев». А тогда он шикавал вовсю, закатывал актерам пикники, ужины и постоянно бывал за кулисами, причем ни за одной из актрис не ухаживал. В бенефис М. Н. Ермоловой он прислал свою коляску, чтобы отвезти ее из театра домой.

М. Н. Ермолова по окончании спектакля вышла из театра, сопровождаемая всей труппой, прошла по саду под приветствия шпалерами стоявшей публики. По выходе на улицу она была встречена новым громом аплодисментов. Коляска, убранная цветами, стояла без лошадей, вместо которых впряглась учащая молодежь обоего пола во главе с двумя гигантами в камлотовых, может быть из старых родительских ряс, пиджаках, своими ба-

сами покрывавших гудевшую улицу. Зажгли факелы. Полиция прошествовала, но бенефициантку усадили вместе с ее горничной с большим узлом и при восторженных кликах довели до гостиницы.

* * *

М. Н. Ермолова чувствовала, что здесь, в Воронеже, у нее есть своя публика, такая же, которая в Москве, на студенческих вечерах создала ее первые успехи, та же самая, которая восславила ее в «Овечьем источнике». Это та же учащаяся молодежь и радикально настроенная интеллигенция. Она удивлялась, что глухая провинция, Воронеж, моложе Москвы, и вдохновенно читала в дивертисментах то же, что читала на московских студенческих вечеринках. На афише помещалось: чтение из сборника «Живая струна». А читался и Плещеев, и Некрасов, и Пальмин...

Каждое ее выступление в дивертисментах была сплошная оvação. С каким восторгом я слушал ее каждый раз! Такого чтения после П. А. Никитина я не слышал никогда, и, слушая ее тогда и после, я будто вижу перед собой П.А. Никитина, слышу его голос, тон, пе-

реливы, и вижу перед собой меняющее выражение лицо и глаза Ермоловой, Ермоловой того дня, того незабвенного вечера, когда вскоре после бенефиса прочла она «Песню о рубашке» Томаса Гуда, затем некрасовское «Внимая ужасам войны». Публика неистово требовала еще и еще... Басы гудели. Она еще прочла плещеевское «Вперед без страха и сомненья»... Выходила на нескончаемые вызовы, показывала, что не в силах больше читать. Публика, видя ее усталую, а может быть, чувствуя, что сильнее, чем «Вперед», уже ничего сказать нельзя, только благодарно, неистово приветствовала...

Когда она, откланиваясь, отступила в глубь сцены, вдруг раздалось с галерки:

– Реквием...

А вслед за ним, как эхо, «Реквием» повторилось еще несколько отдельными голосами в партере, и наконец рявкнул и бас сверху, по-семинарски смягчив первый слог. Театр на это непонятное для них слово ответил общим ревом: «Бис... бис...»

Как сейчас помню, Ермолова остановилась, благодарно взглянула, подняв голову к

правому углу галерки, откуда рывкнул бацище, расцвела как-то вся, засияла, подошла к рампе, поклонилась и встала. Лицо стало серьезным. Театр замер.

И полились чарующие звуки, и зазвучал безотказный призыв, и чуялась в голосе сила неотразимая... Это не Ермолова – это Лауренция, призывающая к отпущению...

– Заиграло! – кивнул мне Казанцев головой, мигнув на зрительный зал, и выражение лица было точь-в-точь такое, какое я видел у него потом в пьесе Писемского «Самоуправцы», когда он, играя Девочкина, бросает это слово, сидя верхом на заборе и любуясь пламенем подожженного помещичьего дома.

*Не плачьте над трупами павших
борцов,
Погибших, с оружием в руках...
Не пойте над ними надгробных
стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни гимнов, ни слез
мертвецам,
Отдайте им лучший почет.
Шагайте без страха по мертвым
телам.*

*Несите их знамя вперед...
Кованой сталью звенели и звали к
бою звенящие слова:
Несите их знамя вперед...
С врагом их под знаменем тех же
идей
Ведите их в бой... до конца...*

Секундная пауза. Вместо грозного призыва в голосе в лице восторженный взгляд и убедительный полусшепот:

*Нет почести выше, нет тризны
святей
Для тени, достойной борца.*

Взрыв аплодисментов и приветствий слился в гул, заглушивший даже басы.

Уехала Ермолова – сборы упали. Басы исчезли. Только бенефис Вязовского сделал сбор, да и то, думается, потому, что на один спектакль приехала любимица воронежской публики Ц. А. Райчева, спевшая в диветерсменте несколько арий из опереток. Да еще явился на репетицию бенефиса человек небольшого роста с красиво подстриженной русой бородкой. Он предложил спеть в дивертисменте «Баркаролу» и принес с собой ман-

долину и тут же прорепетировал перед артистами.

Его поставили на афишу: «Певец Петров исполнит „Баркаролу“». Сбор был недурной, виднелся в последний раз кой-кто из „ермоловской“ публики. Гремел при вызовах один бас. Петров имел успех и, спевши, исчез. Мы его так и не видели. Потом приходил полицмейстер и справлялся, кто такой Петров, но ответа не получил: его не знал никто из нас, кроме Казанцева, но он уехал перед бенефисом Вязовского, передав театр нам, и мы доигрывали сезон довольно успешно сами.

* * *

«Реквием» имеет свою историю. Автор его – Лиодор Иванович Пальмин, поэт-сатирик, работавший у В. С. Курочкина в лучшее время «Искры». В восьмидесятых годах он писал всюду, не разбирая направлений издания, и везде пользовался одинаковым почетом. Печатал в «Русской мысли», у В. М. Лаврова и В. А. Гольцева, под своей полной фамилией стихи и переводы с польского и одновременно в «Московском листке», у Пастухова, печатался под псевдонимом «Трефовый король»,

«Марало Иерихонский» юмористические стихи, и у него же, в «Гусляре», подписывался полной фамилией. Писал он в «Будильнике», «Свет и тени», «Стрекозе» и «Осколках» и везде был грозой цензоров. Как его ни ловили, а он все-таки всучит такую закорюку, что цензору выговор влетит, а то и совсем в отставку. А раз закатил такую штуку, что цензура строжайше указала не сметь упоминать об этом.

В «Осколках» первого января 1883 года напечатано было его новогоднее стихотворение, весь сюжет которого состоял в шуточной игре слов на цифрах 2 и 3, а канвой служили 1882 и 1883 годы. Глубина злой шутки, о которой было строго запрещено упоминать, заключалась в том, что после Александра II вступил на престол Александр III.

Я не помню всего стихотворения, но у меня остался в памяти куплет, которым заканчивалось это новогоднее стихотворение:

*Кой черт, что два сменило три...
Пустою будет голова,
Когда она пуста внутри...
На ней хоть два,
На ней хоть три...*

Когда потом Н. А. Лейкин, издатель «Осколков», укорял Пальмина, что он мог подвести журнал подобным стихотворением, то последний ответил: уверен, что ничего за это не будет, потому что отвечает цензор, который разрешает, а если уж такое несчастье и случилось, то ни Главное управление по делам печати, ни даже сам министр внутренних дел не осмелится привлечь цензора: это все равно, что признать, что царь – пустоголовый дурак. Таков был Пальмин.

В то время, когда я с ним подружился, то и дело встречаясь в редакции, это был невзрачный, небольшого роста человек, в синих очках, с лицом, изъеденным оспой, и всегда с «акцизным акцентом»: очень любил водочку и даже в кармане косушку носил, а когда ему на это укажут, отвечал: «Сердце останавливается... Сделаешь глоточек, и опять застучит...» Пальмин знал только редакцию и трактир. В гости к знакомым не ходил и к себе никого не звал. Мне только посчастливилось у него частенько бывать. Мы жили целое лето на даче под Москвой, в Краскове, я на одном конце села, против церкви, а он на дру-

гом, рядом с трактиром. Иногда, когда он у меня изредка засидится, подвыпьет, это бывало к полуночи, то я шел его проводить, и уж никогда не отпустит без рюмки водки или стакана пива. Жена всегда ждет его, ругает, не стесняясь, при мне: опять напился. А сама уже тащит на стол угощение и ставит три рюмки или три стакана – сама любила выпить и очень любила угостить. «Вы вот кокетку скушайте», – уговаривает меня. «Сколько раз тебе говорю: не кокетку, а котлетку...» – «Вот если бы я тебе из котла ее сжарила, тогда котлета... А это небось говядина...»

Пойдет спор. Выпьем по две-три рюмки, я прощаюсь, а он увяжется проводить меня... Если дома не спят, опять его приходится угощать и провожать...

Как-то ночевал у меня Антоша Чехонте. Так мы всю ночь, будучи оба трезвые, провожали Лиодора, а он непременно нас, и так до света. Был ли он женат или просто много лет жил с этой женщиной, никто не знал. Он ее никак не рекомендовал, а она вела себя, как жена. Каждому приходящему совала лещом

руку и сразу тащила на стол водку.

В такой обстановке Пальмин работал, иногда давал чудные вещи. Его стихотворение «Реквием» было написано давно, долго ходило по рукам, а потом как-то проскочило в сборник-декламатор «Живая струна», но в числе нескольких стихотворений было запрещено для чтения на сцене. Его разрешили для чтения только во время турецкой войны, полагая, что шагать по мертвым телам и нести знамя вперед относится к победе над турками, но цензура вскоре одумалась, запретила вновь для чтения на сцене и из следующих изданий «Живой струны» совсем выкинула.

* * *

– Куда ты, долгогривый, на плитувар заехал!

– Да я пешком иду!

Такой диалог происходил в заштатном городишке Тамбовской губернии, где не только тротуаров, а и мостовой даже на главной улице не было, а щегольнула там не слыханным дотоле в здешних местах словом супруга полицейского пристава, выслужившегося из городских при охране губернаторского дома,

где губернаторша поженила его на своей прачке, а губернатор произвел в кварталные.

Это было началом его карьеры. В заштатном городишке он вел себя важнее губернатора, даже жесты у своего прежнего Юпитера из Питера перенял: голову поднимет, подбородок, всегда плохо выбритый, выпятит, смотрит через плечо разговаривающего с ним, а пальцы правой руки за бортом мундира держит.

– Вот я те покажу! – взвизгнула приставиха, глядя надвигающуюся вдоль высокого дощатого забора деревенскую соломенную шляпу на косматой гриве.

Круглая, как шар, выкатилась приставиха за ворота с метлой, поднятой на высоте соломенной шляпы, в намерении поразить дерзкого «наездника»...

Два огромных черных крыла взмахнули над шляпой, и косматое чудовище раскрыло обросшую волосами пасть с белыми зубами. Что-то рывкнуло, а затем захохотало раскатами грома. Пара свиней, блаженствовавших в луже посередине улицы, сперва удивленно

хрюкнули, а потом бросились безумным бегом во двор полицейского квартала, с десятков кур, как будто и настоящие птицы, перелетело с улицы в сад, прохожие остановились, а приставиха вскрикнула – и хлоп в обморок.

На пронзительный вскрик и громоподобный хохот бежали через двор в расстегнутых кителях исправник и пристав, опрокинув стол с наливками, которыми они услаждались в вишневом садике.

Чудовище, увидав полицейские мундиры, по-видимому, испугалось, но продолжало свой путь под удивленные взгляды встречаемых, бежавших к кучке народа, окружающей приставиху.

– От бремени разрешается твоя супруга, – заявил приятелю исправник, бывший до полицейской службы военным фельдшером, и крикнул в собравшуюся толпу: – Беги-ка кто за Матвевной, скажи – к роженице!

Трое мальчишек стремительно бросились в соседнюю улицу, вслед им поползла городская дурочка-нищенка, напевая: «Погоди не роди, дай за бабушкой сходить», а исправник подавал медицинскую помощь.

Трое мальчишек забыли все, увлекшись кувыркающимися в воздухе турманами, которых гонял длинным шестом городской голова, балансируя на балкончике голубятника. Его лоснящееся от жиру бородатое лицо выражало и спортивный азарт, и блаженство.

Эти чувства еще ярче отразились на чумазых мордочках мальчуганов, которые тут и застряли, забыв и о Матвевне, и о роженице, и об исправнике. А в это время исправник исправно исправлял обязанности акушерки, а пристав производил дознание о происшествии. Главного виновника пристав не успел допросить, он только увидел широченную спину, шляпу над косматой гривой и широченные рукава, которыми размахивало это чудовище, исчезая в повороте на главную улицу, стараясь скрыться. Пристав все-таки узнал его, погрозил кулаком вслед:

— Ужо вот я тебя дошкурю! Не погляжу, что!

* * *

Этот рассказ я услышал на Большой Дмитровке, за чайным столом, в комнатке при табачной лавочке Н.В. Васильева, куда я зашел

за свежим чумаковским табаком.

В Воронеже во время гастролей М. Н. Ермоловой Н. В. Васильев, который числился в меценатах, часто угощал актеров, и в его коляске отвозила публика артистку после бенефиса.

Теперь Н. В. Васильев, проторговавшись, держал в Москве табачную лавочку, куда я и зашел.

За столом сидело пятеро: сам хозяин, чистенький старичок, его старушка жена и два провинциала-покупателя, одетых – старик в долгополый сюртук и сапоги бутылками, а другой, высокий и могучий, в бобриковом пиджаке и синей рубахе-косоворотке. Оба из одного города, оба родились там и только позволяли себе выезжать за покупкой товара в Москву. Старший в молодости еще служил приказчиком в Воронеже, а младший после смерти отца, ставшего уже исправником, жил со своей матерью и женой в том же самом домике, где родился, держал тут же овощную лавку, и в Москву его жена отпускала только со своим отцом. Тесть звал своего зятя Павлушей, а тот почтительно именовал его Наза-

ром Филиппьевичем, а Васильев его звал Назарушкой, а тот его – Коля. Оба они, наперерыв, весьма образно рисовали житье-бытье заштатного города.

Наша беседа с Н. В. Васильевым началась с воспоминаний о воронежском сезоне, а потом стала общей. Особенно много знал о Воронеже старший, бывший в то время приказчиком в книжном магазине и имевший большое знакомство. Во время арестов в 1880 году книжный магазин закрыла полиция, а Назарушку вместе с его хозяином выслали на родину.

Во время разговора о Воронеже мелькали все неизвестные мне имена, и только нашлась одна знакомая фигура. В памяти мелькнула картина: когда после бенефиса публика провожала М. Н. Ермолову и когда какой-то гигант впрягся в оглобли экипажа, а два квартальных и несколько городских, в служебном рвении, захотели предупредить этот непредусмотренный способ передвижения и уцепились в него, то он рывкнул: «Брысь!» – и как горох посыпалась полиция, а молодежь окружила коляску и повезла юби-

ляршу.

Это был семинарист-богослов Саввушка, который заставил М. Н. Ермолову прочесть «Реквием». Он в будущем году кончал курс, и воронежский архиерей уже наметил его за необычайный голос и великанский рост в соборные протодьяконы прямо с семинарской скамьи. Но не удалось ему быть воронежским протодьяконом. Осенью этого года пошли в городе, никто тогда не знал почему, политические аресты, и в числе арестованных оказался и Саввушка. Так звали его все в память легендарного Саввушки, такого же богатыря, бывшего когда-то протодьяконом, от баса которого лампы потухали. Его посадили вместе с другими арестованными в тюрьму, но архиерей его выручил. Других сослали, а ему дали кончить курс, но жандармы разыскали за ним еще какую-то вину, и по неблагонадежности ему было запрещено жительство в Воронежской губернии. Хотели даже сослать его в Сибирь, но опять архиерей спас, и, конечно, оженив его, дали ему место в какое-то глухое село глухого уезда Тамбовской губернии, где он и зажил мирно, поражая своим го-

лосом, слушать который приезжали любители.

Человек он был трезвый, дружил с учителем, интересовался чтением и больше всего любил ловить на удочку бирючей, эту вкусную рыбку, водящуюся в изобилии в реке Воронеже.

Его-то «дошкурить» и порешил пристав, отец только что рожденного Павлуши, бывший воронежский квартальный, один из тех, на которых гаркнул Саввушка «брысь» и который впоследствии присутствовал на обыске и отправлял его в тюрьму.

Когда исправник великолепно выполнил обязанности акушерки и новорожденного мать кормила грудью, пристав поил сливянкой в беседке исправника и требовал, чтобы дьякона Саввушку отдать под суд, что он вообще неподходящий и по политическим делам содержался.

Исправник что-то помозговал, и глаза его засветились:

– Э! Да о нем у меня бумага есть. По предписанию жандармского управления он отдан нам под негласный надзор. И он, и учитель от

Троицы, и дачники с Хохловой мельницы! Мы сейчас обыск закатим, первым делом у него!

При обыске нашли роман «Что делать?» и старый номер «Земли и воли». Исправник получил награду.

Саввушка посидел в Воронежской тюрьме и был куда-то сослан.

* * *

Двадцатого февраля 1886 года – юбилей С. А. Юрьева, празднуется в Колонном зале «Эрмитажа». Глаголями стояли сверкающие серебром и цветами столы в окружении темной зелени лавров и пальм. Я был командирован редакцией «Русских ведомостей» дать отчет о юбилее, и когда явился, то уже все сидели за столом. По правую сторону юбиляра сидела Г. Н. Федотова, а по левую – М. Н. Ермолова. Обед был сервирован на сто пятьдесят персон. Здесь были все крупные представители ученой, литературной и артистической Москвы...

Речи лились. То и дело один за одним мелькали поднимающиеся ораторы: В. А. Гольцев, А. И. Чупров, В. И. Гирье, Ф. Н. Плева-

ко, А. И. Веселовский, Г. А. Джаншиев, А. П. Ленский, А. И. Южин, Н. В. Бугаев. Представители всех направлений чувствовали «человека сороковых годов», ученого, писателя, драматурга и искусствоведа. Либералы особенно подчеркивали его значение как переводчика Лопе де Вега, и тогда лавры юбиляра разделяла и Ермолова: подходившие ораторы приветствовали и юбиляра и Ермолову, чокались с ней, как с первоисполнительницей Лауренции на русской сцене. Юбилей этот был праздником для Ермоловой.

Старейшая представительница от Малого театра Г. Н. Федотова стушевывалась, хотя этого никто не подчеркивал: уж очень дипломатичны были наши ученые, но чувствовалось, что вторым лицом за Юрьевым здесь была Ермолова.

Закончились речи, задвигались стулья; из гостиной, убранной экзотикой и цветами, раздался звук рояля, и все двинулись туда, к кофе и ликерам.

Я, все время не спускавший глаз с Марии Николаевны, хотя загорожен был от нее спиной впереди сидевших, встал в то время, ко-

гда поднялась она. Увидав меня, она закивала мне головой.

– Неужели вы узнали меня? Ведь я с бородой...

– Конечно, узнала, у меня есть номер «Будильника» с вашим портретом, да потом, как же вас не узнать?...

Пока публика торопилась в гостиную, мы стояли у стола и разговаривали. Это была моя первая встреча после Воронежа, первая и единственная, явившаяся продолжением наших воронежских бесед. Никогда не забуду этого разговора во всех подробностях.

– Я все ждала от вас или речи, или экспромта, как в Воронеже, а вы все писали...

– В Воронеже свои, товарищи, а здесь – цвет Москвы!

– И вы не тот, что в Воронеже... Мне первый на вас указал Казанцев, потом Андрей-Бурлак рассказывал о своей поездке по Волге и о вас... Стихи ваши читаю в журналах. Прочла ваших «Обреченных» в «Русских ведомостях», то самое, что вы мне рассказывали о работе на белильных заводах.

Я стоял, молчал и был на седьмом небе...

– Помните Свободину... Ее предсказание сбылось...

– Знаю, что вы женаты... Одно из ваших стихотворений из «Осколков» о фабрике наизусть выучила, читала, да запретили...

Тут нас перебил В. А. Гольцев:

– А вас, Мария Николаевна, конечно, интервьюирует наш представитель прессы...

– Нет, Виктор Александрович... Просто старину вспоминаем, лет десять тому назад вместе в Воронеже служили и с тех пор не видались...

– Позвольте!.. Позвольте!..

Прислуга хлопотала, унося столы. Из гостиной слышно пение. Мы вошли туда в то время, когда дружными аплодисментами награждали артистку Большого театра М. Н. Климентову, М. Н. Ермолову сейчас же окружили... Я отошел в сторону, но все-таки раза три урывками мне удалось поговорить с ней еще. Она восторгалась Воронежем.

– Какая там публика чуткая! Как далеко провинция опередила Москву... Меня особенно поразило: в дивертисменте меня заставили бисировать до усталости. Прочла мое лю-

бимое «Вперед без страха и сомненья». Это вы мне в книжку написали, храню...

Ну вот, прочла, вышла, раскланиваюсь и показываю руками, что устала, не могу больше. Публика поняла и не требует. Вдруг я слышу, кто-то с галерки, сдерживая голос, убедительно басит: «Реквием»! Я взглянула наверх, а там молодежь хлопает и кричит, и опять басовый полусшепот покрывает голоса: «Реквием»! Потом еще три-четыре голоса: «Реквием»!

– Это я помню.

– Ну вот. Сама не знаю, как это вышло, но я прочла «Реквием». Уж очень меня поразило – откуда знают в Воронеже. Ведь я «Реквием» читала всего один раз, на вечеринке, на Пре-чистенке, студентам и курсисткам.

Нас опять перебили – подошел седобородый и подслеповатый С. А. Юрьев под руку с А. И. Южиным.

Последний мой разговор в этот вечер был такой.

Я перехватил Марию Николаевну, когда она шла к чайному столу одна.

– Позвольте с вами попрощаться, Мария

Николаевна, я бегу в редакцию, надо отчет писать!

– Ну, торопитесь... Только одна просьба – не пишите ничего, ничего не пишите в отчете обо мне. Искренняя просьба... Мне не могут простить Воронежа... Когда я приехала, все меня поздравляли с успехом, а Надежда Михайловна Медведева и говорит мне: «Ты, Машенька, там, болтают, будто запрещенные стихи читала...»

* * *

Шли годы, десятки лет... Мы встречались с Марией Николаевной на заседаниях Общества российской словесности, в маленьком круглом зале углового университетского здания, у ворот. Встречались иногда на разных юбилеях. Продолжительных разговоров не было. А все-таки двумя словами перекинемся и о Воронеже. Только раз не вспомнили, и поэтому эта встреча памятна мне. Умер поэт А. Н. Плещеев. Хоронить его привезли в Москву, на Новодевичьем кладбище. Был холодный, ветреный день. Я приехал на вокзал к самому приходу поезда. Влетел на платформу, по обыкновению в распахнутой шубе. Встречаю-

щих было много. Первая, кого я увидел, была М. Н. Ермолова. Стихотворением Плещеева «Вперед» она заканчивала почти каждое выступление. М. Н. Ермолова стояла в группе кутающихся в шубы писателей и артистов.

Первым делом я подошел к ней. Здравуюсь, а она в ответ:

– Да застегнитесь, пожалуйста, такой холодина, простудитесь...

– Благодарю вас, Мария Николаевна, я не простужаюсь, – ответил я.

– Он чугунный, ему ни черта не делается! – замычал Южин.

– И чугун трескается, – сказала Мария Николаевна.

Поезд подошел.

* * *

Моя последняя встреча с Марией Николаевной была в 1924 году, 12 января – считаю по старому стилю. Это был Татьянин день, московский студенческий праздник. Я пришел на именины к Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник. Она жила в квартире М. Н. Ермоловой, в ее доме, на Тверском бульваре. Квартира в третьем этаже, вход из-под ворот,

по скверной «черной» лестнице. Попадаю на кухню, называю свою фамилию и спрашиваю именинницу. Старушка проводила меня закоулками в гостиную. Обстановка старинная. Чай – по-именинному, вокруг самовара, пироги домашние, корзинка с покупным пирожным, ваза с фруктами. За столом сидит Маргарита Николаевна, дочь Марии Николаевны. Именинница встречает меня. Только что я взял стакан с чаем, как входит та самая старушка, которая ввела меня, и говорит:

– Владимира Алексеевича просит Мария Николаевна к себе.

– Пойдемте, это уж особая честь, что Мария Николаевна просит к себе. И как узнала? – спросила Татьяна Львовна старушку.

– Да я сказала, что пришел Владимир Алексеевич, она велела позвать.

– Это для вас исключение. Мария Николаевна никого не принимает, – заметила одна из сидевших за столом.

Через темную комнату, дверь с теплой гардиной, а за ней уютная комната Марии Николаевны. Она поднимается с кресла и тихо идет навстречу. Сильно постаревшая, осунув-

шаяся, какой я себе ее даже и представить не мог. Идет с трудом, на лице радость и вместе с тем ее вечная грустная улыбка. Глаза усталые и добрые, добрые. Я поцеловал ее горячую, сухую руку, она мне положила левую руку на шею, поцеловала в голову.

– Спасибо, Танечка, за то, что привела его, и за то, что ты именинница... А то бы я его так и не увидела... Ведь он у меня здесь в первый раз.

– Я бы обязательно зашел повидать вас и, кроме того, поблагодарить за милое письмо, что вы мне прислали на мой юбилей месяц назад.

– Я бы сама пришла, да больна была. Вот на этом кресле, где вы сидите, всегда Островский сидел, – сказала она, опускаясь в кресло. – Танечка, ведь мы с ним старые друзья... Еще в Воронеже в семьдесят девятом году играли. Все такой же. Как сейчас помню нашу первую встречу на репетиции – Владимир Алексеевич с пожара приехал, весь в саже, так дымом, дымом от него!

И помахала рукой перед лицом, будто от дыма отмахивается. Говорит медленно, с тру-

дом, а все улыбается.

Татьяна Львовна показывает мою книжку «Петербург».

– Вот от Владимира Алексеевича именинный подарок получила.

– А мне? Что же мне?... – торопливо обратилась ко мне Мария Николаевна.

На счастье, был у меня в кармане номер журнала «Огонек» с моим портретом и биографией, написанной Ю. Соболевым к моему юбилею.

– А вот и вам, Мария Николаевна!

– Ах, как хорошо! И портрет. А ты, Танечка, потом приди и почитай мне его книжку.

Она взяла со стола открытку со своим портретом в роли «Перед зарей» и дала мне.

Между прочим, она посмеялась моему четверостишию новому:

*С тех пор, как грянула свобода,
Мне все на свете трын-трава.
Я правлю в год два Новых года
И два Христовых Рождества.*

– Уж очень это хорошо у вас: «грянула свобода». Именно она грянула. А ну-ка еще прочтите.

Я повторил.

– Ну еще раз.

Еще прочел. И она по-своему, по-ермоловски, прочла нам наизусть.

– Боюсь, что могу забыть. Напишите своей рукой на журнале. Вот, на полях.

Я написал и прошу:

– А вы, Мария Николаевна, на своей карточке число проставьте.

Она подписала: «12 января 1924 года» – под ранее написанным: «Вл. Ал. Гиляровскому на память о Воронеже».

– Ах, Воронеж, Воронеж! Какое время! Какие люди были!

Посидели еще, поговорили про старину, о Воронеже, о ее юбилее, о юбилее С. А. Юрьева, на котором мы первый раз встретились после Воронежа.

Прощаясь со мною, она встала, проводила, у самых дверей поцеловала меня в щеку и сказала:

– Ведь вот насмешил-таки меня, а я уж забыла, когда смеялась. Все тот же, все такой, как и был.

Это были последние слова, которые я слы-

шал от Марии Николаевны, и думаю, что я был один из последних, кто видел ее улыбку и слышал искренний смех.

* * *

На том самом месте этой огромной, высокой церкви Большого Вознесения, у Никитских ворот, где сто лет назад под золотыми венцами стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, высился весь в цветах и венках белый гроб, окруженный беспрерывно входящими и выходящими москвичами, пришедшими поклониться останкам своей любимицы, великой артистке Марии Ермоловой. Здесь собрались те, которые не будут иметь возможности завтра присутствовать на торжественной гражданской панихиде в Малом театре.

Церковь не вмещала всех желавших войти сразу, народ толпился на улице, ожидая очереди, и под ярким мартовским солнцем, и в сырую, холодную ночь, до тех пор, пока от церкви не двинулась процессия к Малому театру.

Мне удалось наблюдать это грандиозное, невиданное в Москве зрелище с подъезда в

Столешниковом переулке...

В полночь послышалась музыка, на Советской площади засверкали дымящиеся красными прыгающими облаками факелы, красивыми бликами осветившие высокий белый катафалк, и белые попоны лошадей, и тысячную толпу народа... Процессия спускалась сверху вниз по переулку... Красные отблески играли и на белом катафалке, и на стенах домов. Живой багровый дым факелов казался огненным потоком, чем ближе, тем грознее. Прекрасный оркестр играл что-то классическое, при совершенном безмолвии переполнившего улицы народа. Музыка постепенно смолкала, факелы исчезали за поворотом на Петровку, а народ все еще шел, шел к Малому театру, окруженному также толпами встречающих...

* * * * *

Аполлон с высоты Большого театра мог видеть только живое, колеблющееся зарево от факелов, и облачка дыма поднимались до него, и он мог думать, что это ему опять приносят жертву, опять воскуряют фимиам, как и тогда, тысячелетия тому назад...

*Как сапоги-скороходы,
Бежали за годами годы...*

Память о тысячелетиях мелькнула только на минуту... Пронесло ветром дым, погасли факелы. Забыты жертвоприношения древние и забыт фимиам...

Сегодня он в бессонную ночь, возбужденный заревом факелов и жертвенным фимиамом, не уснул, как всегда, а вспомнил то, что он видел за это время, он, олимпийский бог, покровитель искусств, у которого вместо девяти муз осталась четверка лошадей и вместо лиры златострунной в руках – медные вожжи. На все он смотрел только через головы и спины лошадей, а что делалось кругом и внизу – не видал...

Помнит он белоснежный квадрат площади, обнесенной канатом, войска, марширующие два раза в году под музыку; видел он раз в год вырастающий в одну ночь и на одну только неделю еловый лес. Помнит он тучи пыли, несшиеся на него от куч мусора, наваленного на площади.

И клубятся перед ним картины прошлого.
Я смотрю на него снизу в этот сырой, ту-

манный день, шлепая по лужам и талому снегу, растоптанному тысячами ног вчерашней факельной процессией на площади. Смотрю и вспоминаю то, что видел Аполлон за последние полвека, и грежу прошлым. Но мои грезы обширнее, потому что с высоты птичьего полета, и притом с одной стороны, величавому олимпийцу, сменившему по воле судеб свой божественный Олимп на фронто́н Большого театра, ему казались все равными: вельможи и архиереи, купцы и купчихи на рысаках – и пеший люд всякого звания, состояния, и сытый, и голодный. Все, что было внизу, казалось ему мелким, не стоящим внимания, а нам он казался пустым и холодным. Нас больше интересовала кипевшая внизу жизнь.

Первое, что мелькнуло сейчас в моей памяти, – это солнечный мартовский день, снежное полотно, только что покрывшее за ночь площадь, фигура розовой под солнцем девушки, которая выпрыгнула из кареты и исчезла вот в этом самом подъезде Малого театра. «Вся радостно сияет! Восходящая звезда!» И это было так давно...

* * *

Бежали за годами годы... Клубились воспоминания... Вспомнился вдруг чудесный серовский портрет Марии Николаевны, висевший в Литературно-художественном кружке, на Большой Дмитровке.

Мария Николаевна редко там бывала, разве только на юбилеях и чествованиях крупных лиц художественного мира. В чей-то юбилей я встретился с Марией Николаевной в Литературном кружке перед репинским портретом Льва Николаевича Толстого.

– На днях, – сказала она, – я прочла «Хаджи-Мурата», и в полном восторге, но самое сильное впечатление произвело на меня начало – описание репея. Ведь это первый цветок, который я захотела сорвать. Мне было тогда четыре года. Он вырос как раз перед нашим окном, на старом кладбище. Я вылезла из окна, в кровь исколола руки, а все-таки сорвала.

Погост. Театральная площадь. Погост...
Подмосковное село Владыкино.

* * *

Подмосковное село Владыкино, одно из любимых дачных мест, в половине прошлого

века было бедным погостом: церковка, кладбище, пяток домиков и речка Лихоборка, которая привлекала любителей удить рыбу. В числе их был капельдинер Малого театра. Он поселился там с семьей. Вслед за ним его приятель суфлер Н. А. Ермолов снял под дачу избушку на великую радость своей пятилетней дочки Маши, до того знавшей только погост возле церкви Спаса, близ Каретного ряда. Там стоял «домик крошечка, в три окошечка», во втором этаже которого жила просвирня, а в нижнем квартировал суфлер Н. А. Ермолов.

И по сию пору стоит тот домик в полной неприкосновенности, окруженный большими домами, выстроенными в конце прошлого столетия вокруг церкви; в те времена фасад домика выходил на церковный погост, а задние окна – на пустырь, поросший бурьяном вплоть до самой Неглинки. В незапамятные времена это место было кладбищем во время моровой язвы, и до сих пор при земляных работах там находят кости.

Вот эта-то глухомань и была для маленькой Маши ее детским садом, куда она вылезала из окна вровень с землей. Отец, бывало, на

репетиции, мать хлопочет по хозяйству, а Машенька гуляет одна-одинешенька. Рвет единственные цветы – колючий репей и в кровь руки исколет. Большие ливни вымывают иногда кости.

Радости жизни у ребенка были: днем пустырь и театр вечером. И долго так было. Когда с августа начинались театры, Машенька всю осень гуляла на своем пустыре.

Росло Владыкино с каждым годом. Росла Машенька и, когда сделалась актрисой, первым делом выстроила там дачу для родителей и всю свою жизнь проводила в ней, каждое лето, за редким исключением – отъездов на гастроли и для лечения за границу. Так она полюбила свое Владыкино, что и похоронить себя завещала там.

Погост. Театральная площадь. Погост.

* * *

Биографы Марии Николаевны писали о ней, что она замкнутая и нелюдимая...

В Воронеже она такой не была. Всегда веселая и разговорчивая, в своей маленькой компании она любила слушать и говорить о театре, о литературе, о Москве и меньше всего – о

себе. Только раз, когда В.П. Далматов припомнил, что он познакомился с Шекспиром с десяти лет, она улыбнулась:

– А я с пяти!

И рассказала, как она нашла череп, как отец увидал это, вылез через окно и сказал, что это не игрушка и что надо положить его туда, где он лежал, потому что «человек он был».

– Взял у меня его, вытянул перед собой руку с черепом, смотрит на него и каким-то не своим голосом сказал протяжно и жалостно: «Бедный Йорик!» Потом зарыл его в землю, и больше разговоров об этом не было.

Все так же я хожу с отцом в театр, сижу с ним в будке, люблюсь блеском декораций, сверкающими костюмами артистов; слушаю и не понимаю, а сама не только спросить, а пошевелиться боюсь, чтоб отцу не помешать. И вдруг – знакомая декорация: кладбище! Ну, точь-в-точь наше – и могилки, и памятники. Старик могилу копает, песню поет и выкидывает вместе с землей череп, такой же старый, каким я тогда играла. А около могилы два человека в черном. Уж после я узнала, что это

Гамлет и Горацио. Я тогда ничего не понимала. Один из них наклоняется, поднимает череп, что-то говорит с могильщиком, становится так же и, выпрямив руку, как тогда отец, качает головой, смотрит на него, ну, словом, все, как отец делал, и тем же протяжно-жалостным голосом, ну, точь-в-точь отец, говорит: «Бедный Йорик!»